

Захар Прилепин

Леонид Леонцов:

ПОДЕЛЬНИК ЭПОХИ

18+

Литературные биографии

Захар Прилепин

Леонид Леонов: подельник эпохи

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1.09 Леонов Л.М.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8 Леонов Л.М.

Прилепин З.

Леонид Леонов: подельник эпохи / З. Прилепин — «Издательство АСТ», 2019 — (Литературные биографии)

Леонид Леонов (1899–1994) — белогвардейский офицер и рядовой красноармеец; купеческий сын и модный литератор, которого Максим Горький назвал своим преемником; драматург, чьи пьесы снимаются из репертуара звонками Сталина, и мэтр, которого с девяностолетием поздравляет Михаил Горбачев... Невероятно, что всё это могло поместиться в жизнь одного человека. Славе его первых романов — «Барсуки», «Вор» — завидовали Булгаков и Набоков, пьесу «Унтиловск» поставили во МХАТе при Станиславском, а публикация последнего романа — «Пирамида» — опоздала на несколько лет, чтобы стать бестселлером эпохи перестройки наравне с «Детьми Арбата».

УДК 821.161.1.09 Леонов Л.М.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8 Леонов Л.М.

Содержание

От автора	6
Глава первая	11
Горемыка-отец	12
«Пародия на человека»	16
«Зимний шар»	19
Зарядье	20
Потери	22
Лёна	25
Митрофан Платонович	28
Увлечения	30
Первое печатное слово	32
Глава вторая	35
«По шести стихотворений в день...»	35
«Вы грезите, пока суровый век не повернет железные страницы...»	39
Гимназия	42
Большевики пришли	44
Год поэтический	46
Интервенция	49
Другая жизнь	52
Юнкер № 636	58
«Кто нас там ждет?»	61
Исход	63
Глава третья	65
«Едет-едет из Архангельска, едет смелый коммунар...»	65
Буйный, горячий, осатанелый ветер	68
«Ух, стра-а-ашно!»	72
Миновало	74
Красноармейские газеты	76
Столица советская	79
«Деяния Азлазивона»	84
У Фалилеевых	88
Глава четвертая	89
«Явление неожиданное, невероятное...»	89
Издатель Сабашников	92
Дары	94
Большая литература начинается	98
Ковякин и его записи	101
Воры и гусаки	103
Литературный быт	109
Глава пятая	112
Фининспекция и «Унтиловск»	112
Леонов и Булгаков	115
Леонов и Есенин	120
Конец ознакомительного фрагмента.	123

Захар Прилепин

Леонид Леонов: подельник эпохи

Биография

Автор и «Редакция Елены Шубиной» выражают благодарность агентствам ИТАР-ТАСС и РИА Новости за предоставленные фотоматериалы

Выражаю благодарность Дмитрию Быкову, который летним днем 2005 года надоумил меня написать жизнеописание Леонида Леонова,

Николаю Андреевичу Макарову, внуку Леонида Леонова – за помощь и понимание,

Наталье Леонидовне Леоновой, дочери писателя – за гостеприимство и критические замечания, далеко не все из которых, каюсь, были учтены в этой книге,

Ольге Ивановне Корнеевой, возглавляющей Государственный архив Архангельской области, – за любезно предоставленные неизвестные ранее документы о пребывании Леоновых в Архангельске,

Андрею Рудалёву и Эду, приютившим меня в Северодвинске, Алексею Коровашко, Илье Шамазову и Алексею Коленскому – за дельные советы, а также всем, изучавшим жизнь и творчество Леонида Леонова и тем самым серьезно облегчившим мне работу над этой книгой, издателям, публикующим сей труд.

Автор

От автора

Леонид Максимович Леонов – мир непомерный. Путешествовать в этом мире надлежит с богатым запасом сил, с долгой волей и спокойным сердцем. С пониманием того, что он полноправно граничит с иными мирами мировой культуры.

Принимаясь за свой труд, мы знали, что наше путешествие в мир Леонова лишь началось. И едва ли даже путь длиною в жизнь позволит пройти хотя бы раз каждой тайной тропой.

Тем более что нам памятливы уже пройденные места в этом мире, куда так хочется возвращаться из раза в раз. Там пришлось пережить минуты, быть может, наивысшего счастья читателя и слушателя. Там замирало сердце от внезапной высоты и от пугающей глубины.

Вот несколько наименований тех мест, что отозвались радостью или прозрением.

Повесть «Евgenia Ivanovna» – как мягкий, теплый круг на солнечной стене.

«Петушихинский пролом» – внезапно открывшаяся, беззвездная, черная вышина, вспугнувшая взгляд так, что сами в ужасе зажмуриваются веки.

Величественная «Дорога на Океан», где врывается зимний воздух в распахнутое окно и взмываются ледяные шторы, полные хрусткого снега.

«Необыкновенные рассказы о мужиках» – как тяжелая, густая смурь над среднерусской деревней, в которую вглядываешься долго и безответно.

Роман «Вор», который сам есть отдельный мир удивительного городского многоголосья, живых теней Благуши, предсмертной высоты цирковой арены, пивной пены московских нэпманских кабаков, тоскливых тупиков достоевской нашей родины...

И «Пирамида» – почти бесконечный путь, где за каждым поворотом новые неисчислимые, выворачивающие разум, перекрестья. Идешь им, иногда словно в душном бреду, иногда словно в прозрачном сновидении, порой словно ведомый кем-то, порой напрягая все силы разума, дабы не заблудиться, – и неожиданно выходишь на страшный пустырь размером в человеческую душу...

Сказанное Леоновым таит великое количество пророчеств. Нечеловеческим зрением своим он зафиксировал несколько движений Бога.

В прозе его равно различимы первый детский смех и последний тектонический гул глубинных земных пород.

Читая Леонова, иногда будто бы скользишь понад ясной водой, но иногда словно продираешься в тяжелом буреломе, под хруст веток, глядя вослед заходящему, оставляющему тебя в черном лесу солнцу.

И только упрямый путник будет вознагражден выходом на чистую, открытую небесам почву, где струится холодный ключ, целебней которого нет.

Кому-то может показаться, что в случае с Леоновым все понятно: совпис, многократный лауреат, орденосиц, «Русский лес» и что-то там еще...

Но ничего ясного вовсе нет: ранняя его пронзительная проза не прочитана и даже не опубликована толком; «советские» романы его, страшно сказать, почти не поняты, хотя переизданы десятки раз на десятках языков; о «Пирамиде» и речь вести трудно: неизвестно, с какого края к ней подступаться; те же, кто подступался, – зачастую видели лишь свой край, и то – насколько хватало зрения.

Сама судьба Леонова амбивалентна: ее легко можно преподнести и как несомненно успешную, и как безусловно трагическую.

Родился в Москве, в семье забытого ныне поэта-суриковца. Семья распалась, когда Леонид еще был ребенком: отца отправили в ссылку, и он покинул столицу с новой женой, оставив в Москве пятерых детей.

Юность Леонова пришлась на Гражданскую войну.

Не испытывая очевидной симпатии к большевикам, в силу обстоятельств он попал в Красную армию. Собственно Гражданскую войну Леонов описывал очень мало и вспоминать эти времена не слишком любил.

Вернувшись в Москву, Леонов пробовал поступить в университет и провалился.

Начал писать прозу и выступил с рядом рассказов и повестей, сразу принесших ему признание определенного круга читателей – но не критики.

Со второй половины двадцатых годов Леонов выступает как драматург. Одна из первых его пьес была запрещена вскоре после премьеры. Еще более трагична была судьба другой, написанной накануне войны, пьесы – она подверглась сокрушительному разному.

Куда более Леонов известен как романист. Имя писателя часто ассоциируется с жанром производственного романа. По внешним признакам к этому жанру можно отнести книги Леонова, изданные в тридцатые годы: «Соть», «Скутаревский», «Дорога на Океан». Со временем, но далеко не сразу, они принесли Леонову и читательский успех, и блага, даруемые властью. Однако сегодня, вместе с полной потерей актуальности жанра производственного романа, почти исчез и читательский интерес к Леонову.

Самое, пожалуй, известное произведение Леонида Леонова, роман «Русский лес», вышедший в 1953 году, сначала едва не растерзанный в пух и прах литературными недоброжелателями, а потом неожиданно удостоенный Ленинской премии, для современной читающей публики является, с позволения сказать, непроходимо советским.

После «Русского леса» в течение полувека Леонов не публиковал больших вещей, да и публицистика его появлялась в печати все реже.

Писатель постепенно исчез из эпицентра литературной жизни, уступив его иным властителям дум. На исходе восьмидесятых многие думали, что Леонова и в живых уже нет.

Известен знаменательный диалог тех лет меж Никитой Сергеевичем Михалковым и его отцом, баснописцем, автором трех гимнов Сергеем Владимировичем.

«– Папа, а Леонид Леонов еще жив?

– Жив.

– И все еще соображает?

– Соображает, но боится.

– Чего боится?

– Соображать».

Еще более категорично высказался Михаил Веллер в своем романе «Ножик Сережи Довлатова»:

«...уже второе поколение читает и цитирует “фантастов” (низкий жанр!)

Стругацких – и хоть бы одна зараза ради разнообразия призналась, что выросла на Леониде Леонове».

Часть нового литературного истеблишмента фактически отказала Леонову в литературной значимости.

Впрочем, статус советского литературного вельможи еще продолжал по инерции действовать на представителей власти. В 1989 году, в честь девяностолетия писателя, Леонова навестил генсек Михаил Горбачев, между прочим, выразивший при встрече свое восхищение романом юбиляра «Бруски». Увы, Леонов никогда не был автором этого произведения, принадлежавшего перу писателя Федора Панфёрова.

Незадолго до смерти, уже в девяностые, Леонов попал в больницу с диагнозом «рак горла». Те немногие, кто навещал его, ужасались убогим условиям, в которых находился писатель: палата напоминала грязный барак. В больнице Леонова собирался навестить ставший

президентом Борис Ельцин, но передумал. Зачем Президенту России нужен советский классик?

В 1994 году Леонид Леонов издал свой последний роман «Пирамида». Если бы эта книга вышла на пять лет раньше, в те годы, когда взбудораженная публика рвала из рук в руки сочинения Анатолия Рыбакова и Александра Солженицына, ее бы прочитали. Не поняли бы, но все-таки прочитали: всей, ну или почти всей, читающей страной.

Но в 1994-м уже начали падать журнальные и книжные тиражи, а само мировосприятие русской интеллигенции, до сих пор истово верившей в силу слова, вступило в период тяжелой трансформации. В середине злополучных, суетливых, постыдных девяностых «Пирамиду», по большому счету, читать было почти некому.

...Это печальный вариант судьбы.

К счастью, у нас есть возможность рассказать все иначе. Так что взмахнем легкими веслами и вернемся на тот берег, откуда отчалили, чтобы переплыть эту реку заново.

Итак, отец Леонова был широко известным в свое время поэтом суриковской школы. Оба деда Леонида Леонова жили в Москве и владели собственными лавками в Зарядье. Большую часть детства Леонов провел в дедовских домах. Степенные, колоритные старики глубоко повлияли на Леонова. В сущности, Леонов стал последним счастливым свидетелем той старой, купеческой, домовитой, трудовой Москвы.

Он достойно отучился в школе и гимназии. Публиковаться начал еще в 1915 году в архангельской газете, редактором которой был отец писателя.

После революции Леонов перебрался в Архангельск. Летом 1920-го добровольцем уходит в Красную армию. В 1921-м его откомандировывают в Москву. В 1922-м он, совсем молодой еще человек, за весну-лето написал сразу добрую дюжину рассказов и повестей, и реакция первых слушателей была восторженной.

«Несколько месяцев назад объявился у нас гениальный юноша (я взвешиваю слова), имя ему – Леонов, – писал художник Илья Остроухов Федору Шаляпину. – Ему 22 года. И он видел уже жизнь! Как там умеет он ее в такие годы увидеть – диво дивное!»

Первые книги Леонова были опубликованы в 1923 году.

«Этот человек, без сомнения, является одной из самых больших надежд русской литературы», – напишет вскоре про Леонова Горький.

Леонова безоговорочно воспринимают как мастера, известность его быстро становится всеевропейской. Эпитет «великий» рядом с именем Леонова появится, когда писателю не будет и тридцати. Первое собрание сочинений Леонов выпустит в двадцать девять лет. Эмигрантская критика увидит в Леонове чуть ли не единственное оправдание всей советской литературе. Родная критика жалуется не всегда, но ее приязнь далеко не всегда могла быть показателем достойного литературного труда.

С середины двадцатых книги Леонова выходили почти ежегодно (кроме нескольких сложных лет накануне и во время войны) в течение семи десятилетий. Многие романы выдержали свыше двадцати переизданий. И книги эти многие годы имели своих благодарных читателей, Леонову присылали тысячи писем.

Произведения его переведены на все основные языки мира и многократно переизданы. Библиотека научных работ о Леонове – огромна, она в сотни раз превышает по объему написанное им и включает труды специалистов большинства европейских стран.

Влияние Леонова на всю русскую литературу глобально и не изучено во всей полноте.

Для одних Леонов был камертоном, по которому сверялось подлинное, значимое, важное. Другие, скажем, Владимир Набоков, сверяли по Леониду Леонову (и еще по Шолохову)

свой успех. Известно, как вопиюще несправедливо оценивал Набоков и «Тихий Дон», и «Барсуки». Как ревновал, когда в один день состоялись премьеры спектаклей по пьесам Леонова и во МХАТе, и в Малом театре...

Ни тому, ни другому не дали Нобелевскую премию, хотя Владимир Набоков заслуживал ее безусловно, а Леонида Леонова Нобелевский комитет в качестве соискателя премии рассматривал трижды...

Впрочем, что мы всё о литературе и о литературе.

Понятно, что, по словам самого же Леонова, «биография писателя – это его романы»; но и о жизни его тоже есть что сказать.

Леонов прожил без малого век, и судьба его стоит вровень с этим страшным и небывалым столетием. В разные годы века он бывал и очарован, и оглушен, но никогда не был раздавлен и унижен настолько, чтобы опуститься до бесстыдства и подлости.

До последних дней он сохранил ясность рассудка: белый, сухой, как древнее дерево, статик, он многие годы строил свою «Пирамиду» и в девяносто лет, и в девяносто один год, и в девяносто два. Глаза стали слабеть – так он держал в памяти десятки телефонов своих редакторов и помощников.

Читая «Пирамиду» и памятуя о шутке сановитых Михалковых, понимаешь, кто тут на самом деле соображал.

Тем более смешно поминать имя того самонадеянного чудака, мимоходом сказавшего: «...хоть бы одна зараза ради разнообразия призналась, что выросла на Леониде Леонове».

Смешно оттого, что имя Леонова – самое неудачное из числа тех, что он мог бы выбрать для своего суесловного рассуждения. Те, кто Леонова называл своим учителем, – первые среди литераторов, ставших сутью и крепью литературы второй половины века.

Леонову посвятил Виктор Астафьев одну из первых своих повестей. Под благословляющим именем Леонова он начинал свой путь.

Учителем называл Виктор Астафьев Леонова, уже сам будучи стариком, хотя какие вроде бы в такие годы могут быть учителя! А вот могут...

Космической мощью Леонова восхищен автор нескольких воистину великих романов о войне Юрий Бондарев:

«Где сейчас, в каком пространстве гений Леонова? Там, в других высотах, в неземных декорациях, вокруг него не очень многолюдно, так как из миллионов художников только единицы преодолевают границу для дальнего путешествия к потомкам».

Валентин Распутин, классик безусловный, говорил в дни юбилея Леонова:

«Два великих события на одной неделе: столетие Леонова и двухсотлетие Пушкина. Это даты нашего национального торжества. Дважды на этой неделе вечности придется склониться над Россией».

Слышите? «Вечности склониться!»

Что самое забавное: даже вышеупомянутые Стругацкие почитали Леонова высоко и прямо говорили о влиянии его книг на собственную прозу. А вы говорите: «хоть бы одна зараза...»

Что до леоновской жизни, то она была куда сложнее тех набросков, что мы сейчас сделали: хоть печального рисунка судьбы его, хоть счастливого.

Жизнь его была и куда печальнее, и куда счастливее.

Будучи в возрасте патриарха, Леонид Леонов сказал как-то, что у каждого человека, помимо внешней, событийной, очевидной биографии, есть биография тайная и ненаписанная.

Не без трепета мы берем на себя смелость совместить, сшить не самой ловкой иглой обе эти жизни воедино.

Пойдемте.

Глава первая

Родители. Зарядье. Детство

Когда ему было девять лет, приснился сон: он идет по цветочному лугу, Господь начинает благословлять его и обрывает движение... Иногда кажется, что биографию Леонида Леонова стоит начинать не с дня его рождения, вести рассказ не с московских улочек начала позапрошлого века, но из тьмы запредельных глубин, где зародилась искра его сознания.

«Откуда же берется у всех больших художников это навязчивое влечение назад, в сумеречные, слегка всхолмленные луга подсознания, поросшие редкими, полураспустившимися цветами? Притом корни их, которые есть запечатленный опыт мертвых, уходят глубже сквозь трагический питательный гумус и радиально расширяющееся прошлое, куда-то за пределы эволюционного самопревращения, в сны и предчувствия небытия».

Так говорил Леонов в «Пирамиде».

Но даже он ответа не дал: откуда в художнике и творце это влечение назад, все дальше и дальше, минуя сны, память мертвых, отсветы прошлого, за пределы первых времен?

И едва ли нам удастся найти тот волшебный фонарь, что позволил бы проследить таинственный, горный путь искры божественного духа, однажды обретшей себе пристанище на земле в сердце человека по имени Леонид Леонов.

Оттого мы лишь возьмем на себя труд по мере сил проследить путь этого сердца от светлого дня мая 1899 года до темного дня августа 1994-го.

Горемыка-отец

Леонид Леонов родился в Москве в последний месяц весны, 19-го по старому стилю, по новому – 31-го, и был крещен по православному обычаю.

Отец – Максим Леонович Леонов, мать – Мария Петровна (в девичестве – Петрова).

К моменту рождения сына Леонида родители были женаты всего год, и проживут они вместе около десяти лет – с 1898-го по 1908-й.

Отец Леонова публиковал стихи и под своей фамилией, и под несколькими псевдонимами, самый известный из них – Максим Горемыка. Этот отцовский псевдоним, по всей видимости, является одной из первых нитей, которая связала судьбу самого Леонида Леонова с судьбою Максима Горького.

Скорее всего, Алексей Пешков, выбирая себе в 1892 году свой народнический псевдоним, не мудрствуя, сделал его по готовому образцу: от Максима Горемыки до Максима Горького полшага.

Правда, литераторов, писавших под псевдонимом «Горемыка», существовало на исходе XIX века не менее десятка (и еще пяток Горемыкиных и один Горемычный), но Максим все-таки среди них был один, и к тому же самый известный.

Горький никогда не говорил об этом, но стихи Максима Горемыки он знал уже в молодости.

Максим Леонович Леонов родился 13 (25-го по старому стилю) августа 1872 года в деревне Полухино Тарусского уезда Калужской губернии в крепкой крестьянской семье.

Отец Максима Леоновича – то есть дед нашего героя – Леон Леонович Леонов смог перебраться из Полухина в Москву, открыть свою бакалейную лавку в Зарядье. Начал наездами поторговывать еще в 1868-м, а потом переехал в город насовсем.

Десятилетним мальчиком и Максим Леонович, закончивший к тому времени полтора класса сельской школы (на этом его образование завершилось), отправился в белокаменную помогать отцу, у которого дела шли все лучше. На сына своего Леон Леонович возлагал надежды, но, как часто водится в подобных случаях, Максим выбрал себе путь совершенно иной, поперечный.

Поначалу он, как и ожидалось, служил в лавке отца «молодцом»: резал хлеб, развешивал жареный рубец, – но чуть ли не тайне начал почитывать книжки, купленные задешево на Никольском рынке. Книжки и поменяли жизнь его.

В четырнадцать лет Максим Леонов познакомился в Зарядье со стариком-сапожником из евреев-выкрестов. Звали старика Тихон Иванович, и в отличие от иных обитателей тех мест питал он слабость к литературе. Тихон Иванович и дал Максиму Леонову почитать поэта Сурикова, автора знаменитой «Рябины» (той, что шумит, качаясь и склоняясь головой до самого тына) и стихотворения «В степи» (про умирающего ямщика, которое также стало народной песней). Суриков, как и Максим Леонов, родился в деревне, мальчиком переехал в Москву помогать отцу в мелочной лавке, выучился грамоте, а затем и стихотворству, начал публиковаться, получил известность. Умер в Москве в 1880-м молодым еще, в сущности, человеком, тридцати девяти лет, хотя в общественно-читательском сознании Суриков неизменно представляется бородатым стариком.

Судьба Сурикова и стихи его, иногда пронзительные, иногда бесхитростные, Максима Леонова поразили. Так он и сам начал писать, неизменно показывая результаты старику-сапожнику. Одно из стихотворений Тихон Иванович наконец одобрил, произнес колоритную фразу: «Рифмой не звучит, однако попытать можно».

Именно это стихотворение и вышло 28 февраля 1887 года в московской газете «Вестник», называлось оно «Взойди, солнышко». Максиму было в ту пору пятнадцать лет.

В семье литературная деятельность Максима никому не глянулась.

«Отец мой, – вспоминал потом Максим Леонов-Горемыка, – старик старого закала и держал меня в ежовых рукавицах. Я рос каким-то забитым мальчиком, и жажда чтения, появившаяся у меня на 12-м году, поставила меня во враждебное отношение с отцом. Книги, которые находили у меня, рвали и жгли, не обращая внимания ни на слезы, ни на мольбы. Я принужден был читать украдкой».

Свидетельство трогательное, но отчасти сомнительное в свете дальнейшего острого интереса деда к литературе, хотя бы церковной. Может, не так он не любил книги, как казалось сыну? Может, поведение сына куда больше мучило его?..

Стихи Горемыки наследовали одновременно и суриковской традиции (любовь к народу, милая деревня, доля бедняка), и иным модным именам той поры – от Константина Фофанова до Мирры Лохвицкой (романсовые мотивы на тему: «с тобою мы не пара, ты – прекраснейшая скрипка, я – разбитая гитара...»), но как поэт Горемыка несравненно слабее и Сурикова, и Фофанова.

Зато в качестве организатора он проявил себя достаточно рано. Правда, к печали отца, вовсе не в купеческом деле.

«В Зарядье, – вспоминал Леонид Леонов об отцовском бытѐ, – литературы, можно сказать, не ценили, и свой сюртук, например, в котором отправлялся на литературные выступления, поэт Максим прятал в дворницкой. Собираясь в кружок, тайком переодевался у дворника, а на рассвете в той же дворницкой облачался в косоворотку и поддевку для приобретения прежнего зарядьевского обличия».

Максим познакомился с местными, зарядьевскими поэтами-самоучками, такими же по большому счету отщепенцами, как и он: в друзьях были сын соседнего трактирщика Иван Зернов (он умер совсем юным, девятнадцати лет) и сын соседнего портного Иван Белоусов. «Левонич» они называли его.

В 1888 году зарядьевский кружок молодых поэтов-самоучек вполне оформился: свидетельство тому – фотография московских поэтов «из народа», опубликованная тогда же в печати; Леонов-Горемыка среди прочих присутствует на ней. Годом позже выходит коллективный сборник кружка под названием «Родные звуки», включавший бесхитростные стихи десяти поэтов, ныне забытых напрочь, – упомянутого Белоусова, Вдовина, Глухарева, Дерунова, Раззорова, Крюкова, Козырева, Лютова, Слюзова. И самого Горемыки, конечно же...

«Авторы настоящего сборника, – писалось в предисловии, – все писатели-самоучки, не получившие никакого образования, но своими собственными силами, без посторонней помощи пробившие себе путь на свет божий».

В том же 1889-м вышла и дебютная книжка Горемыки-Леонова под неприятным названием «Первые звуки». Самое слово «звуки» обладало для поэтов-самоучек необыкновенным очарованием: в XIX веке оно действительно являлось частопотребимым в поэтической речи...

Леонов-Горемыка являлся, по сути, и главой, и душой писательского кружка.

В многочисленных петербургских и московских журналах выходят не только его стихи (к примеру, такие: «От тоски-злодейки/ Да от злой кручины/ Пролегли глубоко/ На лице морщины...»), но и статьи, в основном разоблачительного свойства – «Новый вид издательской аферы», «Переиздатели» (по вопросам книгопечатания). Печаталась его публицистика и за пределами столиц – скажем, в «Донской речи». Леонов-Горемыка был очень работоспособен.

Переписку вел просто огромную: позже, когда профессор А.К.Яцимирский решил собрать воедино биографии русских поэтов-самородков и за помощью обратился к Максиму Леонову, то в ответ получил письма и биографии буквально «в нескольких пудах». Тысячи документов!

В начале 1890-х вокруг него образовалась группа более чем из сорока человек. С 1890 года Леонов-Горемыка переписывается с известным поэтом-суриковцем Спиридоном Дрожжиным. В 1892-м знакомится с другим поэтом – Филиппом Шкулёвым, их дружба продлится долго.

Шкулёв был на четыре года старше Максима Леоновича, давно публиковался, казался пожившим, не имел, к слову сказать, одной руки: покалечился еще мальчиком, когда работал на заводе.

«Я услышал, что в Москве <...> есть поэт-лавочник, который хорошо пишет, а сам душа-человек, – вспоминал потом Шкулёв. – Посылаю письмо и вскоре получаю ответ: “Рад познакомиться, жду 28 мая на Сокольническом кругу в 8 ч. вечера, на концерте в пользу Красного Креста, при входе”.

Прохожу на круг в указанное время, подхожу к молодому брюнету, в цилиндре, в сюртуке, в сорочке и в белых перчатках безукоризненной чистоты, словом, в буквальном смысле джентльмену и спрашиваю:

– Где я могу видеть Максима Леоновича Леонова?

– Я самый... – мило улыбаясь, ответил мне молодой человек».

Так и познакомились.

Придя, впрочем, в другой раз в лавку, где работал Максим, Шкулёв увидел совсем другого человека – «в грязном пиджаке с засаленным фартуком».

Леонов и Шкулёв посещали чайную, где сидели порой по пять-шесть часов, опиваясь чаем. Спиртного поэты-самородки не потребляли: сам Максим Леонов был убежденным трезвенником и, судя по всему, позже передал это качество своему знаменитому сыну.

Общие собрания поэтов проходили в одном зарядьевском трактирчике, и вскоре странные, непьющие молодые люди начали вызывать интерес властей.

Косоворотка и поддевка все менее были по душе Максиму Леоновичу. Он отрастил длинные волосы и приобрел вид для тех времен весьма симптоматичный.

Нелегальные собрания молодых людей, бесконечно говоривших на темы народных печалей, не очень приветствовались полицией. Максима несколько раз предупредили, он не внял. Кончилось тем, что, к ужасу родни, двадцатилетнего Леонова-Горемыку «административно выслали» в Архангельск, где он пробыл более года – с середины 1892-го до конца 1893 года.

Ссылка не прибавила Леонову-Горемыке ни лояльности к власти, ни стремления вернуться в отцовский дом развешивать жареный рубец.

Приехав домой, он выступает инициатором выпуска новых коллективных сборников своих собратьев по перу. Один за другим выходят они – «Блестки», «Искры», «Грезы», «Нужды»; что-то было в тех названиях от наименований лавочек – сказывалась все-таки кровь в детях зарядьевского купечества.

Книги эти пользовались определенной известностью, да и самого Максима Леонова знали уже и за пределами Зарядья.

Горький в одном из своих фельетонов в «Самарской газете» за 1895 год цитирует, с позволения сказать, стихи, присланные в газету очередным графоманом: «...прошу же я вас/ напечатать в газете мой стих первый раз,/ как Леонов поэт, прослышу я точь-в-точь».

В 1898 году выходит вторая книжка стихов Леонова-Горемыки, ее рецензируют, порой даже хвалебно.

В 1902 году кружок Леонова наконец-то получает официальную санкцию на существование, называется он отныне «Московский товарищеский кружок писателей из народа» (спустя год его переименуют в «Суриковский литературно-музыкальный кружок»).

К этому времени стихи Леонова-Горемыки стали приобретать явную социальную окраску: проще говоря, Максима, к еще большему удивлению отца, потянуло в революцию.

Он сходится с Николаем Бауманом, с 1903 года руководившим Московской партийной организацией большевиков и одновременно Северным бюро ЦК РСДРП.

Знакомство их было не очень долгим: 18 октября 1905 года Баумана убили. 20-го, на похоронах революционера, в которых приняло участие около ста тысяч человек, Максим Леонов произносит речь.

В тот же день он совместно со Шкулёвым открыл на Тверском бульваре, возле памятника Пушкину, магазин «Искры» и при нем издательство. «Искрой», между прочим, уже называлась первая нелегальная марксистская газета в России, которая под руководством Ульянова-Ленина выходила с 1900 года; правда, не в Москве, а в Лейпциге, потом Мюнхене, Лондоне, Женеве.

С издательства «Искры» и начались серьезные неприятности Максима Леонова. Издатели запустили в печать ряд вещей откровенно революционного содержания, вроде брошюры «За что борются люди, ходящие с красным знаменем», «Пауки и мухи» немецкого социалиста Карла Либкнехта, сборника статей Розы Люксембург.

Да и совместные сборники «народных поэтов» теперь уже назывались не «Блестки» и «Грезы», а «Под красным знаменем» или «Под звон кандалов». Последний немедленно конфисковала охранка. Начались обыски, очередные «внушения», кратковременные аресты. Издательство, конечно же, закрыли.

Тем временем пришла первая русская революция. Частый гость в доме Леоновых, Шкулёв участвовал в баррикадных боях на Красной Пресне, и дружинники пели его песни: «Красное знамя», «Вставайте, силы молодые!», «Я – раскаленное железо!» и самую, наверное, знаменитую: «Мы кузнецы, и дух наш молод...» – она исполнялась на мотив модной тогда венской шансонетки.

Леонов-Горемыка в то время оказался связан с движением московских булочников: писал воззвания, составлял иные документы, исходившие от их союза.

Профессиональным революционером он, конечно же, не был. В первую революцию Леонова-Горемыку даже не посадили. Вместе с тем Максим Леонович придерживался вольных воззрений слишком упрямо и последовательно, постоянно предпринимая попытки и где-то еще публиковать собственные труды и сочинения своих товарищей.

Четырнадцать раз отца Леонида Леонова привлекали к судебной ответственности в особом присутствии Московской судебной палаты, несколько раз отпускали под залог, но в 1913 году он оказался в тюрьме.

«Пародия на человека»

Не удивительно, что набожные, домовитые, крепко стоявшие на ногах деда Леонида Леонова считали Максима Леонова человеком смутным, странным, а то и никчемным.

К моменту рождения сына Леонида Максиму Леонову было двадцать семь лет. Он был женат уже во второй раз. И позже, расставшись с матерью Леонова, оставив на руках безработной женщины пятерых детей, он женится третьим браком.

Самый простой путь – сказать, что отношение к отцу у Леонова было сложным. Причины для возникновения не самых легких отношений были, и главная причина нами уже названа. Отец Леонида Леонова, да, оставил семью – правда, не совсем по своей воле: семья распалась, когда Максима Леоновича во второй раз отправили в ссылку.

Леонид Леонов не вел в юности дневников, не написал мемуаров (если не считать нескольких публицистических статей с вкраплениями воспоминаний), да и в жизни был человеком скорей закрытым.

Тем не менее ранняя его проза может послужить пищей для размышлений.

Не только литературным гомункулусом, скроенным из остатков Белкина, капитана Лебядкина и архивариуса Тряпичкина из «История одного города», но искаженной отцовской тенью уже кажется повествователь в повести «Записи Ковякина...» – Андрей Петрович Ковякин, поэт-графоман, то романс сочиняющий, то оду, то песнь о народной печали; маниакально записывающий малейшие деяния, свершаемые его знакомыми; к тому же непьющий.

Еще более интересный срез виден в романе «Барсуки», основанном во многом на биографическом материале, чего сам Леонов не скрывал.

Там есть два образа, которые так или иначе ассоциируются с Горемыкой-отцом.

Уже на первых страницах романа появляется весьма жесткая пародия на поэта-суриковца Степана Катушина – в нем угадываются отцовские сотоварищи, да и сам отец отчасти.

В романе у Катушина есть заветная корзинка.

«Чистенькими стопками лежали там книжки в обойных обертках, с пятнами чужих незаботливых рук. Были книжки те написаны разными, прошедшими незаметно среди нас с незатейливой песней о любви, о нищете, о полевой чаше всяческого бытия. Главным в той стопке был поэт Иван Захарыч...»

Иваном Захаровичем звали, напомним, Сурикова.

«...А вокруг него ютились остальные неизвестные певцы протонародных печалей. Поверх стопки спрятались от мира в синюю обертку и собственные катушинские стишки.

Проходили внизу богатые похороны <...> Степан Леонтыч <...> писал незамедлительно стишок: и его отвезут однажды, а в могиле будет стоять талая весенняя вода... Май стучал в стекла первым дождем – пополнялась тетрадка новым стишком: рощи зашумят, соловьи запоют... а о чем и петь и шуметь им, как не о горькой доле подневольного мастерового люда».

В романе действуют зарядьевские купцы Быхалов и Секретов, прототипами которых в разной мере стали два деда Леонова – соответственно, Леонов и Петров. (Быхалов – в большей степени, Секретов – лишь некоторыми чертами.)

У купца Быхалова есть непутевый сын Петр, и он революционер. Здесь Леонов-Горемыка просматривается совсем отчетливо.

Вот после долгого отсутствия среди обычных покупателей в лавке отца появляется беспутный и неожиданный Петр, вернувшийся из тюрьмы:

«– Чего прикажете? – сухо спросил Быхалов, с крякотом нагибаясь поднять упавшую монету.

– Это я, папаша... – тихо сказало подобие человека. – Сегодня в половине одиннадцатого выпустили...

Слышно было в тишине, как снова выскользнула и покатилась серебряная монетка.

– В комнату ступай. Сосчитаемся потом, – рывком бросил Быхалов и огляделся, соображая, много ли понято чужими людьми из того, что произошло.

Как сквозь строй проходил через лавку быхаловский сын, сутулясь и запинаясь».

Петр рассказывает отцу, что сидел в Таганской тюрьме – именно там отбывал свой срок и Максим Леонов-Горемыка.

И вот еще какая есть деталь в романе: Быхалов-старший, владелец лавки в Зарядье, хочет женить непутевого сына на дочке Петра Секретова, человека также зажиточного и крепкого.

По уговору обоих купцов революционер Петр, еще после «первого своего, пустякового ареста, понятого всеми как недоразумение» (ну как у Максима Леонова в 1892 году), ходит к дочке Секретова Насте в качестве домашнего учителя.

После очередного урока Настя неожиданно разрыдалась.

«– Что вы, Настя? – испугался Петр.

– Знаете что?... Знаете что? – задыхаясь от слез, объявила девочка, откидывая голову назад. – Так вы и знайте... Замуж за вас я не пойду!»

И не пошла. В романе.

Здесь можно было бы развить скользкую тему и порассуждать о том, что Леонид Леонов сознательно или бессознательно формировал в первой своей книге реальность так, чтоб его отцу в жены не досталась его мать и тем самым избежала тягостей, выпавших на ее долю по вине мужа.

Но мы не станем этого делать...

Однако есть смысл говорить о том, что неотступная леоновская мука богооставленности крепко рифмуется с тем фактом, что в детстве его оставил родной отец. До самой древней старости Леонов любовно вспоминал всех стариков, когда-либо оберегавших его и помогавших ему, а вот имя отца произносил редко.

И еще всю свою жизнь с нескрываемым раздражением отзывался Леонов о том типе народолюбца из интеллигенции, к которому, безусловно, относился и его отец, и многие знакомые отца.

Приведем в качестве примера пассаж из романа 1935 года «Дорога на Океан». Есть там такой герой Похвиснев.

«Похвиснев взволнованно запрещал ему [мужику] называть его баричем; точно стихи читая, он утверждал, что и он такой же, оттуда же, *из народа*, что и сам он ненавидит *угнетателей* (и украдкой оглянулся, произнеся это слово), что пока надо терпеть и *остричь топоры*, что час *миценья* близок... и еще уйму таких же блудливых и неопределенных слов».

Иногда даже возникает недоказуемое, но имеющее основания ощущение, что Леонов, за невозможностью прямо высказать большевикам свое неудовольствие от иных их дел, срывался на тех, кто призывал и заклинал их приход «блудливыми и неопределенными словами».

Накликали потому что. Накликали!

С откровенной неприязнью напишет Леонов еще одного, отчасти схожего с Похвисневым персонажа по фамилии Грацианский в «Русском лесе». Он – той же природы, но чуть более высокого происхождения и куда более сложен.

Вся эта вздорная и патетичная интеллигентская рать пришла к Леонову, как мы понимаем, из Достоевских «Бесов».

«Дорогу на Океан» и «Русский лес» отец Леонида Леонова уже не прочтет, а вот с «Барсуками» он, скорее всего, ознакомился: они вышли за пять лет до его смерти. И судя по тому, что отношения Леонида и Максима Леоновича в последние годы его жизни были не самыми лучшими, а вернее, не было никаких, есть смысл предположить, что отец себя узнал и в сердце оскорбился.

«Зимний шар»

Их было пятеро в семье: Леонид – в детстве его нежно звали Лёна, три его брата – Николай, Борис, Владимир – и сестренка Лёна. Леонид был самый старший.

Поначалу семья жила в Мокринском переулке. Отец, Леонов-Горемыка, еще не открывший своего скандального издательства, не попавший в тюрьму, но уже ушедший от Леона Леоновича, работал кассиром московской конторы английского акционерного общества.

В 1904-м из Мокринского переулка семья переехала в Замоскворечье, на Пятницкую, 12, в квартиру на пятом этаже. Окна выходили на Кремль. Леониду Леонову тогда было пять лет.

Отец его не только много писал, но еще и увлекался театром, даже мечтал стать актером.

В его комнате висели портреты Шекспира, Шиллера, многих иных, поразивших маленького Лёну, как он сам потом шутил, «благообразным видом, размерами бород и содержательностью взглядов».

Одно из первых и ярких воспоминаний Леонова – 4 февраля 1905 года.

Прозрачный синий вечер – и вдруг громкий хлопок, «в стекло словно ударил зимний шар» – так записывали за Леоновым его слова много лет спустя. («Властный удар в раму», – говорил он же в другой раз.)

Еще он запомнил путанные гроззовые облака, словно на дворе апрель, а не начало февраля.

Весна подступила – такая метафора может напрашиваться, когда речь заходит о первой русской революции, поэтому и апрельские гроззовые облака спустя годы помнились Леонову. 4 февраля как раз было одним из жутких знаков первой революции – именно тогда в Кремле произошло убийство московского генерал-губернатора Великого Князя Сергея Александровича.

ЗВеликий князь погиб в результате взрыва бомбы – этот разорвавшийся «зимний шар» и запомнился Леонову.

Террористический акт совершил переодевшийся в крестьянское платье член петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», член партии эсеров и ее Боевой организации Иван Каляев. В том же году он был повешен в Шлиссельбургской крепости.

Убийство могло состояться двумя днями раньше, но Каляев тогда не бросил бомбу в карету, увидев, что рядом с Великим князем сидят его жена и малолетние племянники.

Стоит напомнить, что незадолго до этого, 9 января, в Санкт-Петербурге случилось Кровавое воскресенье – массовый расстрел рабочих, направлявшихся к государю с петицией о своих нуждах.

Об убийстве великого князя шестилетний Лёна услышал в тот же вечер, в доме у своего деда Леона Леоновича, куда его привезли испуганные родители.

Зарядье

О деде своем по отцовской линии писатель вспоминал чаще, чем об отце. И, несмотря на приведенные выше свидетельства о Леоне Леоновиче, «старике старого закала», державшего сына «в ежовых рукавицах» и сжигавшего в доме все книги, помимо духовных, симпатии внука очень часто – да, пожалуй, всегда – оказывались на стороне деда.

Колоритной фигурой был этот дед: «исключительной суровости и доброты», по словам Леонида Леонова.

Позже, в тридцатые, Леонов писал, что у Леона Леоновича была «крохотная лавчонка» в Зарядье. Никакая не лавчонка, поправим мы, а нормальная бакалейная лавка с большой вывеской «Леоновъ» по адресу Зарядьевский переулок, 13.

В лавке торговали самым разным товаром: и съестное было там, и нитки, и керосин, и мыло, и табак.

Дед лавку надолго не оставлял, и даже родную деревню позабыл по той причине. Но жена его, бабушка Леонида Леонова Пелагея Антоновна, сельский дом свой не бросала и каждую весну уезжала в Полухино. Часто, в летнее время, ездил туда с братьями маленький Лёна – к дяде Ивану Леоновичу. Всю жизнь он помнил деревенские ярмарки, свадьбы и высокую рожь – по крайней мере, именно такой она казалась ребенку: высоченной, шумящей понад головой... Осенью дети возвращались в Зарядье.

О Зарядье надо говорить отдельно: это московские легендарные места, именно здесь будущий писатель получил свои первые впечатления.

В доме деда Леона всегда было обилие самых разных запахов. Порой очень вкусных: в бакалейной лавке жарили колбасу «рубец» в кипящем сале на газовой горелке и тут же продавали ее. Дед сам делал горчицу в пачках, сам солил огурцы, и от самого деда шел дух терпкий и аппетитный.

Вот как это преподнесено в «Барсуках».

«Утрами струится по полу душный запахок созревающего картофеля и острым холодком перебегают дорогу к носу керосин. Обеденного пришельца обдаст сверх того горячим дыханием кислого хлеба. А досидит пришелец до вечера, поласкает ему нос внезапный и непонятный аромат из-под хозяйской кровати – целая кипа там цветных дешевых мыл».

Выйдешь на улицу – там иное.

«То пальнет в прохожего кожей из раскрытого склада – запах шуршащий, приятный, бодрый. То шарахнет в прохожего крепким русским кухонным настоем из харчевенки. <...> А уже за углом сторожат его сотни других прятких запахов. Тонконосым в Зарядье лучше не ходить».

Сам дом, где располагалась лавка деда, принадлежал купцу Бергу, цвета был желто-розового, а выглядел крепко, «как старый николаевский солдат», писал Леонов.

В навесах дома ворковали голуби. Вечером слышен был благовест. Иных звуков – не очень много, в том числе и потому, что само помещение бакалейной лавки было низким, с нависшими потолками, а стены дома – каменные, толстые и никогда не просыхающие. От постоянной готовки и от близости Москвы-реки шла сырость, и даже лестницы были осклизлыми.

Если из дома выйти, то с одной стороны Кремль, золотые купола, а с другой – Китайские ворота. Каменная стена Китай-города отделяла Зарядье от реки.

Дед выходил по утрам из лавки, снимал картуз, крестился, кланяясь во все стороны.

Потом пили чай, дед в те минуты был неприступен, «как человек, поставленный к рулю, – цитируем мы Леонида Леонова. – Губы у него так же жестко сложены, как и у Николы, истового покровителя зарядских дел».

Само имя Зарядье родом из XVII века – называли район так потому, что был он за торговыми рядами, примыкавшими к Красной площади. Поначалу здесь жили ремесленники. В XV веке начали селиться служилые люди и бояре. В XVI – иностранцы. Ну а к XIX веку Зарядье превратилось, по словам Леонова, «в задний двор парадной Москвы, обширную мастерскую простонародного ширпотреба».

«[В Зарядье располагались] москательные заведения последнего разряда, пирожные и обрезочные <...> еврейские мясные лавки, казенки <...> свечные фабрички, извозчичьи трактиры и постоянные дворы», – вспоминал Леонов.

Московская мастеровщина, плотники, канатчики и скорники, торгаши с лотка, блинщики, картузники, пирожники, чистильщики с точилами... вот те люди, среди которых Леонов проводил свои первые годы, кого видел, в чью речь вслушивался.

Мокринский переулок, где Леонов несколько лет жил с родителями, тоже находился в Зарядье: он проходил вдоль реки и соединял Кремль с пристанью, коей, по сути, сам переулок и являлся.

Стоявшая у пристани церковь, где часто бывал и Лёна, носила имя святого Николы Мокринского, покровителя плавающих и путешествующих.

На старых планах Москвы можно рассмотреть, как с холма к берегу Москвы-реки спускаются Москворецкая улица и Кривой, Псковский, Малый Знаменский, Зарядский переулки. Поперек холма шли переулки Масляный, Большой Знаменский, Мытный, Мокринский и Ершов.

В Ершовом переулке жил другой дед Леонида Леонова – Петр Васильевич Петров. От лавки одного деда, Леона Леонова, до лавки второго, Петра Петрова, – три минуты ходьбы.

Генетик Николай Кольцов, друживший с Леонидом Леоновым, при составлении его генеалогии для «Евгенического журнала» в 1925 году писал про особую умственность среди Петровых, начиная от крепостного «грамотея» Петра Дорофеевича Петрова до его деревенских внуков и правнуков, среди которых были любопытные и образованные люди: «атеист, читающий Ренана», некая девушка, «на полевых работах» занимавшая «подростков, декламируя им на память лучшие произведения Пушкина», и так далее, вплоть до племянницы деда Петрова – Анны Евгеньевны Петровой, первой женщины, получившей золотую медаль в Московском университете и ставшей известным психологом.

У Петра Васильевича тоже было свое дело – магазин, который так и назывался – «Торговый дом Петрова». Занимался торговый дом сбором и продажей бумажного утиля. В отличие от Леона Леоновича, добившегося всего самолично, Петрову лавка досталась по наследству от отца, Василия Петровича. Домик свой он, впрочем, купил сам: накопил чуть ли не за всю жизнь пять тысяч рублей и приобрел.

И наследство прирастил, и хозяйство держал крепко, хотя работа была не самая чистая: купец всего лишь седьмой гильдии был Петров.

Дед запомнился внуку как мужчина высокий и обладающий удивительной силой – говорили, что он поднимал груз до двадцати пудов; Леонов помнил, как, будучи уже стариком, Петров ворочал тяжеленные бумажные мешки с макулатурой.

Сами Петровы были родом из деревни Ескино Любимского района Ярославской губернии.

Дед Петров читал газеты, следил за политикой, но едва ли и он мог разделять убеждения и одобрять деятельность своего зятя.

Потери

Максим Леонов-Горемыка почти не приходил в Зарядье из своего Замоскворечья. Местному люду, ради которого он, по сути, и шел на лишения, все его заботы были глубоко чуждыми.

«Тянет тебя в тюрьму... – говорит дед-купец своему непутевому сыну в «Барсуках». – Жрать тебе, что ли, на свободе нечего?»

«Леоновский арестант» – такое имя прицепилось к Максиму Леоновичу, когда сын его Лёна был еще мальчишкой.

Стихи Леонов-Горемыка с каждым годом писал всё более революционные. В 1906-м под явным влиянием друга Шкулёва сочиняет «Песню кузнеца»: «Не взирай на мрак и голод,/ Поднимай-ка выше молот,/ Опускай и не робей/ И по стали крепче бей/ <...> Наряди в венец свободу/ И пошли ее к народу,/ Что в неволе злой живет/ И к себе свободу ждет».

Первая, всерьез, разлука Лёны с отцом произошла в 1908-м, в январе.

Арест случился ночью; Лёна Леонов запомнил происходившее тогда на всю жизнь. Громкий стук, вошли жандармы. Устроили обыск. Мальчик проснулся от чужих голосов, звука громко передвигаемой мебели. Растерзанные книги и затоптанные вещи на полу. Напуганная мать так и стояла все это время в одной сорочке, набросив на плечи платок. Нестарый еще пристав повторял, проходя мимо матери: «Мадам, я не смотрю, я не смотрю».

Спустя тридцать лет Леонид Леонов будет ждать такого же стука в свою дверь...

А тогда, наутро, сразу после ареста отца он пошел по свежему снежку на учебу в Петровско-Мясницкое городское училище, что в Кривом переулке.

В семье Леоновых говорили, что вскоре после ареста к матери Лёны забежал Филипп Шкулёв и попросил: «Мадам, не впутывайте меня в эту историю!»

Неизвестно, насколько это правда, но тюрьмы Шкулёв действительно избежал.

«Судили несколько раз: по первому делу дали 1 год крепости. По второму – 1 год и 2 мес. И, наконец, 1 год и 8 мес.», – рассказывал о себе Леонов-Горемыка.

Всего отец Леонова просидел в Таганской тюрьме около двух лет – с января 1908-го до начала 1910 года.

«Вдвоем с бабушкой, первое время, отправлялись мы к отцу на свидание, – вспомнит Леонов в 1935-м. – Мы ехали туда на конке – гремучее сооружение на колесах, запряженное, кажется, четверкой унылых гробовых кляч. <...> Я помню бескозырки тюремных солдат, галдеж переключки с родными, двойную проволочную сетку и за ней какое-то пыльное, разлинованное лицо отца...»

Мария Петровна, у которой на руках остались дети, кинулась к мужу на одном из свиданий: что делать с нашими чадами?

Леонов-Горемыка предложил отправить всех пятерых в деревню в Полухино, к бабушке Пелагее Антоновне Леоновой.

Мать приняла другое решение. Оставив квартиру в Замоскворечье, она с детьми вернулась в Зарядье. Устроилась работать кассиршей в магазине.

Два брата Леонида Леонова, Николай и Борис, стали жить с одним дедом – Леоном. Другой брат – Володя, маленькая Леночка, сам Лёна и мать поселились у деда Петрова.

Пока отец сидел, Лёна училище закончил: в 1909-м, весной.

Возвращение отца из тюрьмы Лёна запомнил: оно было точь-в-точь как на картине Ильи Репина «Не ждали». Темный, похудевший, с воспаленными глазами, отец остановился в дверях. Все застыли, скорее в испуге, чем в радости... С тех пор Леонову, когда он видел картину, казалось, что она написана «про них».

Вернувшись, Горемыка-Леонов принялся за старое. Став сотрудником московской газеты «Раннее утро», написал очерк о тюремной жизни и фельетон «Его превосходительство», где в качестве явного прототипа просматривался один статский генерал. На этот раз терпеть Леонова-Горемыку не стали, натерпелись с 1892 года, и вскоре предложили покинуть Москву.

В конце 1910-го Максим Леонович Леонов отправился в ссылку, и с ним... новая гражданская жена – рабочая швея и поэтесса Мария Матвеевна Чернышева.

Развалом семьи череда трагедий не закончилась. Самое страшное только начиналось.

Через год после отъезда отца, в промозглые дни поздней осени, брат Володя, которому было всего десять лет, упал в реку. Его вытащили, но пока мальчик добирался до дедовского дома, сильно простыл. Заболел и простуды не выдержал – умер. Все это происходило на глазах у Лёны. (Потом ребенок, упавший в прорубь, появится у Леонова в «Барсуках».)

Тяжелая хворь напала на трехлетнего Колю, жившего у другого деда, – что-то вроде хронического ларингита, есть такая болезнь горла. Сырость Зарядья, видимо, сказывалась на ребятах. Унесла и этого братика болезнь.

Потом заболела scarлатиной сестра Леночка – и погибла. Так остался Лёна единственным ребенком в доме деда Петрова.

Помимо деда, его жены Марии Ивановны и матери Лёны в доме жили две ее сестры – родные тетки Леонова: Надежда и Екатерина.

Катя была, что называется, со странностями. Кто-то считал ее блаженной, кто-то сумасшедшей. Она жила в темной комнате, прорицала, порой мучила себя голодом, отдавая пищу мышам... И писала стихи про «бесчувственного папашеньку».

«Папашенька» – дед Петров – то ли в печали о непутевой судьбе своих дочерей и смерти малых внуков, то ли еще по какой причине начал выпивать. (Наделенный его чертами купец Секретов в «Барсуках» тоже пил запоями.) Дед Петров уходил в заднюю комнату без окна и лежа отхлебывал из бутылей водку. Бутылки ему приносили всё новые и новые.

После многодневного запоя затворничество прекращалось, огромный и лохматый дед выходил из своей комнатки и твердил всем попавшимся: «Не обижайте Лёну! Не обижайте!...»

Рать бутылей потом долго стояла у кровати. И тяжелый хмельной дух витал...

Впрочем, запивал не только дед – в Зарядье вообще много пили и часто дрались пьяные.

«...выпить в праздничный день “для забвения жизни” – формула эта запомнилась мне с самой начальной поры моего милого детства. Казенок в сей местности имелось достаточно, и пьянство процветало сверхъестественное, вплоть до появления зеленого змия и других клинических спутников белой горячки... И доселе помню, как двоюродный дядя, Сергей Андреич, сживал, свесив ноги, на каменном подоконнике, призывая чертей, чтоб забрали его в свою дружную компанию».

Хотя были, казалось бы, и дни отдохновения и чистоты: когда в баню ходили.

«Тогда у москвичей был настоящий культ бани; бань в Москве имелось множество, – рассказывал годы спустя Леонов своим молодым товарищам, и ни с чем не сверяясь, по памяти называл: – Андроньевские, Доброслободские, Елоховские, Замоскворецкие, Зачатьевские, Кожевнические, Крымские, Ново-Грузинские, Ново-Рогожские, Овчинниковские, Преображенские, Сибирские, Тихвинские, Центральные, Чернышевские, Сандуновские, Шаболовские и бог еще знает какие...»

Ходили я, брат, приказчик. И там были керосиновые лампы со вторым стеклом, чтоб брызги не летели...»

Но и тут не обошлось без потусторонних сил, которые впоследствии увлекут Леонова на всю его писательскую жизнь – от первого серьезного рассказа до последнего романа.

«Однажды, – вспоминал как-то Леонов, – заперев лавку, дед отправился в Кадаши. Уже перед самым закрытием набрал воды, зашел в парилку, влез на полок, хлещется веником. А в бане темновато, пар, туман. И смутно видит дед, что в самом углу какой-то старик тоже парится, плещется, хлещется. “Чего он так?” – думает дед. Нехорошо стало. Уж больно крепко хлещется. Вышел, спрашивает у банщика: “Кто это парится так крепко? Смотри, чтобы не запарился”. А тот отвечает: “Е т о т не запарится. Е т о т наш!”».

Так дед Леонова встретился с особой разновидностью нечисти, называемой обычно банником.

Лёна

Каким был маленький Лёна, разгадать трудно.

В прозе Леонова редко встречаются реальные приметы его детства. Есть лишь некие смутные ощущения, почти прозрачный вкус: недаром Леонов говорил позже, что «воздух детства пошел на строительство моих первых вещей».

В отличие, скажем, от Пушкина, или Льва Толстого, или Горького, или Есенина, – Леонова никак нельзя представить ребенком. Будто он очень скоро повзрослел.

Детство помнилось в нескольких ярких деталях и воспринималось как «милое», но все-таки для Леонова, как, например, для Владимира Набокова, ранние годы не были раем земным, куда так хочется вернуться. Какой уж тут рай, когда отец Леонова сидел в тюрьме, потом покинул семью, мать разрывалась в труде... умерли один за другим два брата и маленькая сестра... дед, с которым жил,пил запоями...

Впрочем, что важно, и острой тоски оттого, что на годы детства и юности пришлось столько лишений, у Леонова тоже не найти. Или, может быть, Леонов был вовсе не склонен обнаруживать пред людьми свою давнюю боль?

Мы уже упоминали выше, каким в «Барсуках» Леонова выведен отец. Мать Леонида Максимовича в прозе его вообще не угадываема. Не оставили и малых следов ни братья, ни сестра.

Зато есть деды, прописанные вдумчиво и с потаенным любованием, – и в этом, кстати, заложена очень важная леоновская черта: его неизменное стремление к седобородой зрелости.

Забавы детства не прошли мимо Лёны – но так мало сказались на его характере.

Ну, катался на коньках вдоль кремлевской стены. Дразнил извозчиков. Был хватким, цепким и не терялся, когда нужно было надерзнуть. Дрался на кулачках в Замоскворечье с местной ребятней – и в больших драках выступал задиракой. Выходил перед толпой подростков, подошедших с иной московской улочки, и доводил их до белого каления.

Какие-то чудачества зарядьевской детворы промелькнули в упомянутых «Барсуках». Вот скатывают снежных страшилищ:

«...любопытно было наблюдать, как точит их, старит и к земле гнет речной весенний ветер. <...> [Потом] придумали необычное. В голове у снежного человека дырку выдолбили и оставили на ночь в ней зажженный фитилек. <...> Наутро нашли в огоньковой пещере только копоть. Недолго погорел фитилек».

Какие-то зарисовки прошлого иногда вспоминались и взрослому Леонову.

...вот он в Полухино на похоронах прабабушки – идет один впереди траурной медленной, тяжелой процессии с иконой в руках, слыша за спиною дыхание и поступь мужчин, несущих гроб...

...вот он в Кремле – и видит юношу, бросившегося с памятника Александру II наземь. Изуродованный, но не мертвый лежит он, кровотока, и поводит ничего не понимающим взором. Зачарованный Лёна заглядывает в глаза неудавшегося самоубийцы...

...вот он накопил денег на фонарик, который глянулся ему в магазине, купил, принес домой, замирая сердцем. Но фонарик обнаружила мать, экономившая на каждой копейке после того, как распалась семья, – и вернула его в магазин, сдав детское счастье Лёны за полцены...

...или вот Лёна слушает орган в соседнем трактире купца Петра Сергеевича Кукуева.

«Мальчишкой я бегал туда купить кипятку для чая; за чайник вносили семитку – две копейки, – расскажет в тридцатые годы Леонов. – Вход был из подворотни, газовый рожок полыхал там круглые сутки, задуваемый ледяным

сквозняком, и на лицах загулявших мастеровых, спускавшихся мне навстречу, лежал мертвенный, голубоватый отсвет газового пламени. И всегда поражали мальчишечье воображение эти сводчатые потолки, орган с серебряными трубами, откуда почти круглосуточно неслась гортанная, задумчивая такая музыка...»

Еще запомнилось, что в трактире были фальшивые пальмы, «обитые как бы войлоком», «грубые и сытные яства на буфетной стойке» и «наконец, сами извозчики тех времен – как сидели они, молчаливые, с прямыми спинами, гоняли бесконечные чаи и прели в синих ватных полукафтанах».

...а вот он мальчиком в пушистую зиму выходит на улицу и видит замерзающего пьяницу. Тот сидит у титанической тубы, «похожей на причал для морских кораблей», по словам Леонова.

На губах пьяницы, «синих и раскусанных в кровь, отвращение и горечь; в его темных глазницах еще прячется хмельная, недобрая ночь. <...> И вот к нему приближается другой – благообразный, небольшого роста, бесстрашный. Посторонитесь, чтоб этот не задел вас своим колючим величием и бряцающей амуницией! На нем черная суконная шинель, препоясанная ремнем и шашкой; на нем шапка с плоским донцем и металлической лентой, а на ней Георгий, поражающий змея...»

Какая цепкая мальчишечья память! И какое пронзительное восхищение, видимо, вызывал у Лёны Леонова городской Басов: именно так звали его, зарядьевского охранителя порядка.

«Следите внимательно за всей процедурой скорой помощи... – продолжает Леонов. – Басов нагибается, кряхтя от старости; он берет горсть снега вязаной рукавичкой. Попеременно он трет то правое, то левое ухо пропойцы. <...>

– Ничего, все на свете поправимое! – учительно внушает Басов и заодно протирает снегом лицо где придется. – Вино не должно разума отшибать... <...>

Городовой бредет дальше, к лавке деда, и на снегу остается глубокая колея от его шашки...»

Речь идет о лавке деда Леонова, к которому Лёна ходил в гости каждый день. И в цитируемом нами очерке «Падение Зарядья» Леонов дает новый портрет этого деда, вовсе не схожий ни с воспоминаниями Максима Леонова-Горемыки, ни с образом сурового Быхалова в «Барсуках».

«Дед был чудак, – говорит Леонов, – о нем ходили анекдоты, ему по своему отдавала дань почтения и покровительствовала московская шпана. По утрам у его лавки собирались опойные, в опорках, юродивые фигуры с Хитрова рынка, обломки людей, вышвырнутых по ненадобности за борт жизни, на горьковское дно, рваный человеческий утиль. Они тащились к нему просить на нездоровье, на семейное горе, на построение сгоревшей избы в несуществующем селенье, на стихийное бедствие, а самые откровенные – просто так, выпить огурченого рассолу для опохмелки. Дед был слабый человек, он давал всем. Когда он умер в семнадцатом году, целая когорта этих свирепых горемык молчаливо провожала его на кладбище».

Думаем, здесь Леонов немного подправляет облик деда в соответствии с временами: «Падение Зарядья» было написано в 1935 году, и надо было доказать советским читателям,

что дед Леон хоть и владел «крохотной лавчонкой», но был человеком широкой души и всегда радел за униженных и оскорбленных.

Едва ли дед Леон помогал всем подряд: так он в конце концов к 1917 году не накопил бы вполне приличный капитал, о котором мы чуть ниже еще вспомним. Однако отрицать огульно эту человеколюбивую, жалостливую к сирым ипостась деда Леона мы не вправе. И в этой своей ипостаси дед Леон явно послужил прообразом другого лавочника – Пчхова из романа «Вор».

Так дед Леон распадается на двух героев, очень мало схожих друг с другом: Пчхова и Быхалова. Но кто говорит, что человек должен вмещаться в одно определение?

Неграмотному деду повзрослевший Лёна читал вслух жития святых, патерики, Четьи-Минеи. И чтение это – одно из важных его детских впечатлений с протяженностью и эхом во всю жизнь.

Поначалу Лёна скучал и позевывал, читая. Но от раза к разу неприметное, исподволь, возникло у него понимание и чудотворности жизни, и ее странных и страшных глубин. Дед плакал, слушая, – и такого Леона Леоновича его сын Максим Горемыка не знал. Какие уж тут «ежовые рукавицы», когда человека до слез трогают жития святых.

Леонов потом подарит воспоминания о чтении вслух священных книг сразу двум героям, и каждого из них можно воспринимать как альтер эго писателя – Глебу Протоклитову в «Дороге на Океан» и о. Матвею в «Пирамиде».

Вот так вспоминает свое детство о. Матвей:

«В избе у шорника хранилась старопечатная, именуемая *патерик*, книга с жизнеописаниями отшельников, иерархов и священныхмучеников российских. В зимние вечера, при копилке, ведя пальцем по строкам, питомец читал ее слепнущему благодетелю, который немигающим взором смотрел в огонь, умиленный чужою судьбою, не доставшейся ему самому. Юного грамотея тоже манили необычайные приключения святых героев, в особенности их поединки с нечистой силой, как у Иона Многострадального, по шею закопавшего себя в землю, и дикая прелесть уединенного житья в таежной землянке, куда слетаются окрестные птицы навестить праведника и охромевший зверь стучится в оконце на предмет удаления занозы».

Присутствие Бога в мире маленький Лёна почувствовал не в тот день, когда нес икону на похоронах бабушки, не в те дни, когда отпевали его братьев и сестренку, не тогда, когда читал Леону Леоновичу жития святых, и не в те воскресенья, когда вслед за дедом он ходил в Чудов монастырь, в Кремль.

Был другой, почти мифический эпизод, который возникает в прозе и в личных воспоминаниях Леонова несколько раз: гроза, которая застала его, еще мальчика, в поле, одного – пред бушующим миром.

Неизвестно, где это было. Наверное, в Полухино, где Лёна проводил лето.

На дворе стояла жара Ильина дня – и тут неожиданно будто разорвалось небо.

«Молнии с огненным треском раздирали небо над головой, а ливневая влага, ручьем стекавшая под холстинковой рубахой, придавала душе и телу жуткий трепет посвящения в тайность, а все вместе становилось восторженным чудом, облекавшим парнишку с головы до пят».

Это сбереженное с детства «восторженное чудо» – как обрушившееся с небес понимание присутствия в мире некоей великой силы – Леонов тоже отдал о. Матвею в итоговой своей «Пирамиде».

Митрофан Платонович

Сверстников вокруг было полно, и с ними бойкий Лёна легко находил общий язык, а вот человека знающего, мудрого рядом ему все-таки не хватало.

Вечно занятые деда, безусловно, были малограмотными людьми. Леон Леоныч в буквальном смысле читать не умел, а дед Петров хоть и проглядывал газеты, человеком высокой культуры никак не являлся: вся жизнь в работе прошла.

Но человек, столь нужный Леонову, нашелся. Звали его Митрофан Платонович Кульков, он преподавал все известные в учебном мире науки и чистописание в придачу в Петровско-Мясницком городском училище в пору обучения там Лёны Леонова.

Там же работала жена Митрофана Платоновича – Евгения Александровна, относившаяся к Лёне прямо-таки с материнской нежностью.

Кульков – единственный человек, вошедший в прозу Леонова под своим именем. В повести «Взятие Великошумска», написанной в 1944-м, Митрофан Платонович Кульков – учитель главного героя, генерала Литовченко.

Реального Митрофана Платоновича в сорок четвертом уже двадцать с лишним лет как не было в живых.

Так теплым словом своим Леонов поставил свечку за упокой светлой души дорогого ему человека.

Никто уже не узнает в деталях и мелочах, чем именно Митрофан Платонович подкупил детское сердце, но Леонов всю жизнь был благодарен Кулькову.

«[Он] с отеческим вниманием относился к восьмилетнему, довольно шумному, утомительному и чрезмерно изобретательному мальчику».

«Отеческое внимание» – главные здесь слова.

В повести Леонов описывает Митрофана Платоновича как «неказистого, без возраста» человека, «сеятеля народного знания»:

«...прежде чем бросить семя в почву <...> [он] прогрел его в ладони умным человеческим дыханием. Его уроки никогда не укладывались в программу, но эти взволнованные отступления бывали самой лакомой пищей для его птенцов».

Генерал Литовченко во «Взятии Великошумска» много позже школы начинает переписываться со своим учителем. И куда бы ни прибывал генерал по долгу службы, отовсюду слал подарки, всякую «местную диковинку» в адрес старика.

Видимо, о том же самом мечтал и Леонов всю жизнь: отблагодарить того, кто так много помог ему в детстве и, возможно, обронил еще тогда несколько слов, которые стали камертоном в миропонимании взрослого Лёны.

Через всю повесть в грохоте Отечественной войны генерал Литовченко едет к своему учителю, навестить старика. И наконец приехав, видит горящий дом учителя, а самого Митрофана Платоновича уже нет.

Так, сквозь архангельскую оккупацию, смертельные опасности и фронты Гражданской и смутные времена нэпа шел к своему учителю и сам Леонов.

И подобно прославленному генералу Литовченко, который не рассказывал в письмах старику Кулькову, кем он стал, какими регалиями облечен, как высоко вознесся, но надеялся порадовать и удивить его при личной встрече, – сам Леонов хотел отблагодарить учителя, принеся с собой на встречу первый роман «Барсуки» и два его перевода: на итальянский и немецкий.

Было то в 1927 году.

Пришел он, правда, не домой к Митрофану Платоновичу, а в то самое Петровско-Мясницкое городское училище.

Спешил по скрипучим половицам, почти не узнавая старых стен. Застал в кабинете нестаряющего сторожа Максима, вытиравшего исписанные мелом доски.

Сторож увидел Леонова, совсем ему не удивился и, мало того, узнал – хоть прошло уже пятнадцать лет.

– А Огарков где? – спросил сторож серьезно.

И тут Леонов вспомнил, что с мальчишкой по фамилии Огарков сидел он за одной партой.

– Он умер, – сказал Леонов.

В свою очередь спросил про Митрофана Платоновича: где он, как найти его.

– И он умер, – ответил сторож.

Учителя не стало в 1919 году.

– А жена? Евгения Александровна? Она?..

– Она тоже умерла, – сказал сторож.

Дочь Митрофана Платоновича уже после Отечественной войны нашла Леонида Максимовича Леонова. Сказала, что отец часто говорил о нем дома. Леонов, сам человек теперь немолодой, несказанно, предслезно обрадовался ее словам: «...значит, он замечал меня, мальца? Среди всех других разглядел меня? И вспоминал обо мне дома?.. Боже ты мой...»

Так спустя полвека выяснилось, что неразделенная сыновья любовь, оказывается, имела ответный сердечный отклик. Казалось бы, что в том – когда столько лет прошло! Но от запоздалого известия будто прибавилось в леоновской душе доброго тепла и радости.

Во всякое посещение церкви он ставил за упокой учителя свечу.

Увлечения

В августе 1910-го мама привезла Лёну Леонова и его единственного оставшегося в живых брата Борю из Полухина в Москву. В том же месяце Лёна поступает в Третью московскую гимназию на Большой Лубянке. Ходит он туда пешком, экономя гривенник.

Учится Лёна хорошо, поет в гимназическом хоре, а внегимназические интересы, которые появляются у мужающего мальчика, учебе его не вредят. Между тем появившиеся тогда увлечения пришли к нему на всю жизнь: литература, цирк, театр.

И кино.

В те дни кинематограф воспринимался как чудо. Накануне первой революции в Москве открываются первые стационарные «электротeatры», или, как их еще называли, «иллюзионы».

В один из этих иллюзионов, под названием «Наполеон», на углу Гаврикова переулкa, и бегал подросток Лёна Леонов. Сеанс стоил 20 копеек.

Часто крутили тогда семиминутную «Понизовую вольницу» – первое наше кино, девяносто восьмого года, снятое по мотивам песни «Из-за острова на стрежень».

Самым оригинальным образом экранизировалась тогда русская классика. Весь «Идиот» Достоевского был втиснут в 15-минутную картину, немногим длиннее были «Мертвые души» Гоголя или «Крейцеров соната» Толстого.

Лёна наверняка видел первый русский полнометражный фильм, выпущенный в 1911-м Александром Ханжонковым, – «Оборона Севастополя», с Иваном Мозжухиным в одной из главных ролей.

Много позже Леонов вспоминал картину под названием «Отец» и говорил, что потрясла она не только его юное воображение, но и «весь район моей юности от Каланчевки до Матросской Тишины включительно». Судя по всему, это тридцатиминутный шведский фильм 1912 года выпуска, снятый по одноименной, действительно весьма душещипательной, пьесе Стриндберга.

Один случай из детства, который Леонов вспоминал с неизменным раскаянием, связан как раз с посещением иллюзионов.

Как-то зимним днем все того же 1912 года за обедом попросил Лёна у деда Петрова медную мелочь на кино – тот отказал.

В отместку Лёна положил в стакан чая две ложки сахара вместо положенной одной. Дед сделал замечание: возможно, даже и не грубым словом, а просто поднял в раздражении строгую бровь. Однако внуку, уже тогда тонко чувствовавшему интонации и полутона, и этого было достаточно.

Он пошел к деду Леону, у которого всегда можно было полакомиться простонародными сладостями, а в сахаре не было недостатка, – и взял у него пакет песка. Принес и поставил деду Петрову на стол: на тебе, мол.

Позже, когда писателю было уже за восемьдесят, он все горился и печалился: как мог он так обидеть старика?

То ли по причине этого детского греха, горько сыронизируем мы, а может, по какой иной причине, но крепких отношений с кино у Леонова почти не сложилось. Впоследствии он не стал большим поклонником кинематографа и, к слову сказать, недолюбливал экранизации своих произведений.

Уже в ранней юности театр оказался куда более важным для Леонова.

«Мальчишкой, забравшись на галерку, смотрел я спектакли Художественного театра. Помню, было великим праздником достать билет. Все мои сверстники по гимназии считали это редкой удачей.

Взволнованный, завороченный, я следил за происходившим на сцене и по окончании спектакля, пока сдвигался занавес, стремглав бежал вниз, чтобы горячо аплодировать у рамп, глядя в лицо людям, которых научился любить, которые были необычайно близки и дороги...»

На пору юности Леонида Леонова пришлось такие премьеры Московского художественного, как мольеровский «Мнимый больной» и пушкинский «Каменный гость». Он увидит легендарные постановки: «На дне» Горького, «Дядю Ваню» Чехова, «Дети Ванюшина» Найдёнова, «Касатку» А.Н.Толстого...

«Гимназистом как-то отстоял всю ночь за билетом на спектакль в Камергерском переулке, в Общедоступный Художественный», – вспоминал Леонов.

Еще совсем молодым человеком он знал и боготворил золотой состав МХАТа: Качалова, Ивана Москвина, Леонида Леонидова... Любопытно представить, каковы были чувства Леонова, когда спустя десятилетие ему привелось работать с теми, в кого он был безоглядно влюблен.

Другой пожизненной страстью Леонова стал цирк – самый старый в Москве, тот, что на Цветном бульваре. Цирковые гимнасты, воздушные акробаты, жонглеры, фокусники, факиры, иллюзионисты – все они вызывали необыкновенное восхищение. Цирк как сложившийся, стройный, красивый и в то же время опасный мир...

А еще Лёна играл в шашки. Дед Петров научил: он был известным зарядьевским мастером в этом деле. Во время поединков деда Петрова с другими маститыми игроками ставки были по золотому. Дело происходило, как правило, в Кукуевском трактире. Ремесленники и купцы третьей гильдии обступали тогда стол, дыхание тая. Никто Петрова обыграть не мог.

Но однажды лежал он больной и предложил поиграть тринадцатилетнему внуку Лёне. Мальчик деда обыграл, и это было первое поражение Петра Васильевича за много лет.

Проигрыш ошарашил деда настолько, что он дрожащими руками потянулся за папиросой, торопясь, прикурив и зажженным концом сунул в рот.

«Значит, скоро помирать мне, внук!» – сказал дед и оставил еще одну большую отметину в сердце Лёны. Стало понятно, что не нужно было ему деда обыгрывать.

В 1913 году семья Леоновых – мама, Лёна, Боря – переехала в Сокольники. Братья повзрослели, и мама уже могла содержать их без помощи зарядьевских стариков и теток. Тем более что деда Петрова хватил удар – он еле оклемался и передвигался с трудом.

Старел и дед Леон Леонович. Нет-нет да и начинал говорить о том, что пора ему уйти в монастырь.

А какие крепкие были совсем недавно эти старики! Как жизнь держали за грудки в ухватистых купеческих руках...

Тринадцатый год запомнился Лёне не только семейными печальями, но и большим событием: 21 февраля, в день избрания Земским собором 1613 года на русский престол Михаила Федоровича Романова, начались празднования 300-летия Дома Романовых. Во время посещения Москвы Николаем II Лёне довелось увидеть Государя: он проезжал мимо в карете, глядя на ликующие толпы.

Государю оставалось жить пять лет.

С тех пор Леонов видел всех правителей России своего века.

Первое печатное слово

С начала 1910-х годов Лёна переписывался с отцом, рассказывая ему последние московские новости. Едва добравшись до Архангельска, отец немедленно затеял издание газеты, напаях с печатником Алексиным и переплетчиком Юрцевым.

Характерно, что как неблагонадежный он газету оформить на свое имя не смел, и в роли учредителя выступила жена – Мария Чернышева. В архивах Архангельска хранится документ, где канцелярия архангельского губернатора запрашивает московского градоначальника о «нравственных качествах и политической благонадежности» Чернышевой, «предполагающей с 1 декабря 1910 года выпускать газету “Северное утро”». На что Москва ответила, что «ни в чем предосудительном» та не замечена. Просмотрели, значит, с кем она сожительствовала.

Выдержки из очередного письма сына Максим Леонович использовал для создания двух кратких корреспонденций о забастовках и демонстрациях московских рабочих. Они вышли в двух номерах – от 25 и 26 сентября 1913 года.

Тогда же Лёна начинает писать первые стихи, которые не сохранились...

19 июля (1 августа по новому стилю) 1914 года началась Первая мировая война.

Много лет спустя Леонов вспомнил, что осенью 1914 года выступал на сцене Большого театра – пел в Московском сводном гимназическом хоре; выступление посвящалось союзникам России в войне.

Похвальная грамота ученику 4-го класса Московской Третьей гимназии Леониду Леонову «в награду за отличное поведение и хорошие успехи в науках», врученная 27 ноября 1914 года, косвенно отражала состояние России в те дни.

Еще верилось, что война будет выиграна, а Российскую империю и Дом Романовых ждут долгие времена благоденствия. Посему наградной лист красив, богат, огромен, в многоцветном его орнаменте размещены фотографии, посвященные празднованию 300-летия Дома Романовых и 100-летию Отечественной войны 1812 года, на листе размещены портреты первого государя из Романовых Михаила Федоровича, императоров Александра I, Николая II, императрицы Александры Федоровны и царевича Алексея.

Похвальный лист следующего, 1915, года выглядит несколько скромнее. На нем начертаны суровые слова, которые позже возьмут на вооружение советские агитаторы: «Всё для войны» – слева, и «Всё для победы» – справа.

К пятнадцатому году Лёна Леонов всерьез увлечен литературой. Посещает литературные кружки, пишет не только стихи, но и прозу. Друзья его старых детских забав – по кулачным боям и посещениям иллюзиона «Наполеон» – уходят в прошлое. Теперь у него новый товарищ – Наум Михайлович Белинский. Прозвище друга – Немка. Кто-то назвал его так из гимназистов, и прижилось. Немка разделяет интерес Лёны к поэзии.

За год, вспоминал Наум Михайлович, они перечитали Бальмонта, Брюсова, Белого, Сологуба; кстати, мрачные стихи последнего Леонов будет любить всю жизнь...

Лёна посылает первые свои поэтические опыты отцу, и в том же 1915-м Максим Леонович отзывается трогательным и бесхитростным стихотворением «Заветы сыну».

«В своих стихах будь чист, как светлая росинка,/ Как гордого орла полет – высок душой,/ Забитого нуждой и в жизни сиротинку/ Благословляй в твоей поэзии святой./ Бичуй порок и зло, клейми неправду злую,/ Обиженным судьбой защитой будь в стихах,/ Не забывай вовек страну свою родную,/ Неси свет знания туда, где правит мрак...»

4 июля 1915 года в газете «Северное утро» впервые опубликовано стихотворение Леонида – «Вечером». Леонов никогда не отсчитывал начало своей литературной деятельности с этого дня, что неудивительно: его стихи той поры были совершенно беспомощными.

«Люблю я вечером смотреть,/ Как солнце за гору уходит,/ Как птички
песнь свою заводят,/ И станет темный лес гореть/ Светила яркого лучами.../
Как тихо сделается вокруг,/ Как станет пахнуть сразу, вдруг/ Прекрасным
воздухом, цветами...»

Но даже в этом, совсем еще детском стихотворении неожиданно возникает та нота, что будет сопровождать прозу Леонова целую жизнь:

«Вдруг скрылось солнце – с ним краса.../ Пора домой, уже роса.../ И
на душе так грустно станет,/ Как будто гневны небеса/ И солнце снова не
проглянет».

«Гневны небеса» – вот ведь что! «И солнце снова не проглянет...» Отсюда уже различим путь к финальным строкам «Пирамиды», где снопы искр летят к «отемневшему небу», то есть к тем самым гневным небесам без солнца.

В следующем номере «Северного утра», от 5 июля, вышло еще одно стихотворение Леонова – «Родине». Оно о войне.

«Ты не покинута в своих стремленьях славных./ Святая Русь! Ведь гордо,
как всегда,/ Восстали грозные спокойно-величавы/ В защиту матери герои-
сыновья...»

И здесь возникла вторая главная, пожизненная тема Леонова: светлая земля Русь, ее печали и устремления, ее красивые люди.

Черты родины, уже в первых стихах упомянутые юным Лёной, – и спокойствие ее, и гордость, и величавость – проявятся в полную силу в его «Взятии Великошумска», в «Русском лесе»...

И, кажется, можно догадаться, когда впервые две эти главные, неразрывные темы болезненно сошлись для Лёны Леонова.

Это была осень 1914 года. В Москву пришли известия о катастрофе, случившейся со Второй русской армией, возглавляемой генералом Александром Васильевичем Самсоновым. В течение всего пяти дней два корпуса армии понесли страшные потери: до 30 тысяч убитых и раненых и 92 тысячи пленных. Самсонов покончил жизнь самоубийством.

Вскоре начался призыв работников второго разряда на войну.

«Пошли, – вспоминал Леонид Леонов, – мужики с могучими руками,
громadne, русые, с голубыми глазами, с бородами... А я был мальчишкой
пятнадцати лет, закрылся в уборной во дворе и плакал».

И больше почти ни одного известия о том, что Леонид Леонов плакал когда-либо, не сохранилось.

А слезы его были от жуткого прозрения, что эти живые, высокие, сильные люди окажутся скоро кровавым мясом, а еще точнее – «молодятиной», скормленной войне. Именно этим точным словом – «молодятина» – охарактеризует призывников Первой мировой Леонов в романе «Барсуки».

А от страшной этой «молодятины» совсем недалеко до еще более жуткого определения Леонова, что он дал людям, – «человечина».

Человечина – то, что останется от венца творения, когда небеса окончательно прогневаются и солнца больше не будет над теми, кто не хочет жить и сжигает свою землю.

Так два наивных юношеских стихотворения Леонида Леонова вместили тайный знак всего его пути.

Глава вторая Гимназия. Революция. Оккупация

«По шести стихотворений в день...»

С 1915 года шестнадцатилетний Леонид Леонов подрабатывает корректором в газете. Появляются деньги, чтобы съездить к отцу, – и с этого года он проводит каникулы в Архангельске. Заводит там новые знакомства, посещает местные театры, которых в городе было немало.

Газета, где редакторствует отец Лёны, выходит ежедневно на четырех полосах. «Северное утро» старается рассказать читателю сразу обо всем: от последних событий в стране и ходе войны в Европе до местных, архангельских казусов.

С Максимом Леоновичем сотрудничает Филипп Шкулёв, которого в 1913 году тоже выслали в Архангельск. Он пишет иногда ура-патриотические стихи («А ведь русские идут стеной/ и бряцают щетиной стальной»), иногда сатирические и весьма энергичные фельетоны.

Одновременно Максим Леонов и Филипп Шкулёв выпускают сатирический журнал «Северное жало».

Существующий порядок вещей Максим Леонович не принимает, как и прежде, о чем можно судить по его новым стихам:

«Верить можно и должно,/ Но когда же это солнце/ Нам свободой
заблестит?! Иль уже не суждено/ В наше тусклое оконце/ Солнцу яркому
светить».

Или еще более радикальное в журнале «Северное жало»:

«Задущена свобода,/ Задущена печать./ Забитому народу/ Приказано
молчать./ Не пусты казематы,/ И тюрьмы все полны./ Сидят, тоской объаты./
В них лучшие сыны./ Расстреляны герои,/ Повешены борцы,/ И властвуют
повсюду/ Шпики и подлецы!»

После публикации этого стихотворения журнал закрыли, а оставшиеся номера изъяли из продажи.

В пятнадцатом году Лёна еще находится под поэтическим влиянием отца. Пишет очень много, «иногда – по шести стихотворений в день», как сам говорил.

«Мои первые стихотворения были очень плохи, – признавался позже
Леонид Леонов, – но я хотел бы в свое оправдание сказать: большие деревья
поздно приносят плоды».

Не оспаривая мнение Леонова, мы всё же считаем, что ранние поэтические опыты его могут быть полезными в попытке воссоздания портрета писателя в юности.

Максим Леонович воспринимал поэтические увлечения сына с удовольствием: печатал его часто и последовательно. После первых июльских публикаций 1915 года следуют новые.

Двадцать шестого июля на страницах «Северного утра» появляется лирическое стихотворение «Другу». 1 августа – «Песня», традиционное народническое стихотворение о тяжелой мужицкой доле. 14 августа – «Сон», опять же про мужика, которому снится, что он король.

Так получилось, что в течение полугода стихи, подписанные Леонидом Леоновым, вытеснили из постоянной поэтической рубрики «Северного утра» остальных авторов – и местных сочинителей, и Филиппа Шкулёва.

В номере от 19 августа публикуется леоновское стихотворение «Мысли» о приговоренном к казни: «Уже за мной идут... Прощай, жестокий мир!».

26 августа вновь появляется тема войны: «Ужели в грозный час войны страна не сдержит испытания?».

2 сентября выходит пасторальная «Осень»: «Я завтра не пойду к заглохшему пруду...».

23 сентября – «Ночь»: «За окном шум дождя. Я один». На следующий день, 24-го, – не совсем внятный текст «Им», про «темные силы земли», которые юный поэт Леонов проклинал: «Лжи позорное иго и горе легли/ В основание законов несчастной земли».

В декабре появляется антивоенное сочинение в стихах: «У Вавилы/ Сын Гаврила/ На войне,/ За горами,/ За долами,/ На Двине», с ожидаемым финалом: «А Вавила/ У могилы/ Все стоял,/ И молился,/ И крестился,/ И рыдал...». Затем стихотворение «Рассвет» на северянинский мотив: «Голубеет... Розовеет... Тишина.../ Спят весенние душистые цветы» (в то время как в первоисточнике: «Кружевет, розовеет утром лес,/ Паучок по паутинке вверх полез»). И еще одно стихотворение про симптоматичную для Леонова ватагу чертей, резвящихся на берегу реки.

Отец, который совсем недавно порицал один московский журнал за пристрастие к «чертовщине» («...в редком номере вы не встретите что-нибудь о чертях, про чертей, у чертей», писал он), с inferнальными фантазиями сына смиряется.

От месяца к месяцу поэтические вкусы молодого Леонова меняются. Отцовское влияние вытесняется влиянием символистов, в первую очередь Блока. «1916 год прошел для нас под знаком его третьей книги, главным образом стихов о России...», – вспоминал Наум Белинский.

28 октября 1916-го «Северное утро» публикует характерное стихотворение Лёны Леонова «Осенние аккорды» – о девушке в белом, которой «...в сказках вечерних, неясных, бурных/ Верилось в призраки светлых минут,/ Страстно хотелось закатов пурпурных,/ Знала, что где-то кого-то ждут».

Все эти «где-то», «кого-то», безадресность, размытость и призрачность – конечно же, из Блока.

В тексте «Орхидеи» просматривается бальмонтовская тематика:

«Но по-прежнему жестоко, безотчетно бился разум,/ Но опять тянулись
к свету орхидейные цветки,/ На экваторе, где солнце, издеваясь красным
глазом,/ Превращает океаны в перекатные пески».

Вновь на северянинский мотив написано стихотворение той поры «Это было...»:

«Это вспомнилось в парке/ У забытой веранды,/ Где так долго прощается
умирающий день,/ Где так сочно и ярко/ В бледно-синих гирляндах,/ Ароматным аккордом доцветала сирень».

Северянин, напомним, шестью годами раньше написал свое классическое:

«Это было у моря, где ажурная пена,/ Где встречается редко городской
экипаж.../ Королева играла – в башне замка – Шопена,/ И, внимая Шопену,
полюбил ее паж».

Следом опубликовано еще одно насквозь северянинское стихотворение юного поэта: «Я люблю карнавал! В карнавальных эксцессах/ Обращается вдруг в короля Арлекин!/ Арлекин превратит Коломбину в принцессу!..» и т.д. «Арлекин», естественно, рифмуется с «Коломбин».

Вряд ли отец Лёны, еще совсем недавно призывавший сына «певцом народным быть», приходил в восторг от всех этих «эксцессов» и «Коломбин», но опыты сына публиковал неизменно.

Лёне уже не хватало авторитета отца для того, чтобы осознать, литератор он или нет, и он решает идти к кому-либо из «настоящих» поэтов.

Если бы Леонид оказался в Петербурге, он непременно пошел бы к Блоку, но он жил в Москве – и тут более верного выбора, чем Валерий Яковлевич Брюсов, не представлялось.

Собрав свои публикации, юный поэт отправился к мэтру на суд.

Дальше существует несколько вариантов развития событий: Леонов отчего-то каждый раз пересказывал случившееся в тот день на новый лад.

По одной из версий, навстречу юному поэту вышла кухарка и огорошила его фразой: «Таких он принимает только по пятницам». Но недаром Леонов был купеческим внуком – он не растерялся и сунул ей рубль. Его впустили. Лёна вошел в переднюю, увешанную картинами, и сразу же услышал, как наверху начала истошно кричать какая-то дама. Тут Лёна и сбежал.

По другой, менее вероятной версии, Брюсов все-таки принял Леонова, но выслушал равнодушно, разговора не сложилось, рукописей мэтр не взял.

Наверное, и к лучшему, если так. У Брюсова, в отличие от Максима Леоновича, вкус к поэзии был безупречный, и неизвестно еще, как бы сказала на Лёне Леонове отповедь мэтра: тексты были, в сущности, совсем слабые.

Впрочем, возможно, что Леонов пришел в тот день с поэмой «Земля» – это самая серьезная его юношеская работа, в которой контуры будущего миропонимания писателя очерчены более внятно, чем в самых первых поэтических, почти случайных проговорах.

Леонов шел к Брюсову, чтобы поговорить на самую серьезную уже в те годы для него тему – взаимоотношения Бога, дьявола и человека.

Поэма, которую Леонов завещал уничтожить, все-таки уцелела, и мы, вопреки желанию писателя, можем в нее заглянуть.

Главный герой поэмы – дьявол. В первой строфе он не называется никак, но определяется как «хитрый», «бездомный», «темный», «безрассудный».

Во второй строфе он получает имя – «черный ангел».

Черный ангел решается на заговор против Саваофа и становится «великим черным Сатаной».

«И однажды из ночных пустынь/ Он прокрался, притворяясь Белым,/ Изгибаясь птицей/ И, губами порыжелыми/ Как собака на цепи скуля,/ Он ударил Бога по деснице./ А в деснице была Земля!»

Бог выронил Землю, и «великий черный Сатана» украл ее. Здесь, в поэме, появляется еще одно важное для Леонова слово – «Вор»; так будет называться один из самых известных его романов.

«Солнце настигало,/ Жгло огнем расплавленных лучей/ Удлиненный череп Вора./ Закрывая впадины очей,/ Сатана свернул в концы простора».

Сатана пытается спрятаться от Бога и одновременно уговаривает украденную им Землю умереть вместе с ним.

«А вверху изстарелся Бог/ Под напором изменных тревог,/ Издеваясь улыбкою Божьей», – пишет Леонов, оставляя некое недоумение по поводу того, как же все-таки завершится человеческая история. Над чем издевается Бог? Над своей старостью? Над Вором? Над судьбой Земли?

«Это был первый заговор» – так завершается поэма.

Логический конец у поэмы отсутствует, видны явные смысловые провалы, написана она не очень умело, но сама задача, поставленная перед собой шестнадцатилетним подростком, – велика. Отец Леонида, всю жизнь что-то писавший, подобных задач в своем сочинительстве не ставил никогда.

Спустя всего пять лет, в 1922-м, Леонов вновь вернется к теме кражи Земли и потерянности человечества в рассказе «Уход Хама». И впоследствии эта тема станет одной из главных для него еще на полстолетия.

Однако уже на основании этой поэмы мы можем заключить, что семнадцатилетний Леонов помимо Ветхого и Нового заветов слышал и так называемые славянские дуалистические легенды о сотворении мира, очевидно, повлиявшие на сюжет «Земли», и так или иначе был знаком с Книгой Еноха – самым ранним из апокрифических апокалипсисов.

Возможно, Леонов знал Книгу Еноха в пересказе, данном в сочинении И.Я.Порфирьева «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях», вышедшем в Казани в 1873 году. Но учитывая то, что последние две части Книги Еноха сохранились на славянских языках и к началу века были достаточно широко распространены в России, допустимо, что Леонов частично ознакомился и с самой Книгой. Может, даже читал ее фрагменты своему деду и еще ребенком был поражен теми откровениями, что заложены в тексте.

Так, в Книге Еноха впервые сказано, что именно ангелы научили людей богоборчеству и греху. И несмотря на то, что ангелы, совратившие мир, наказаны, их злая наука не прошла даром, а, значит, снедаемое грехами человечество неизбежно погибнет.

«Вы грезите, пока суровый век не повернет железные страницы...»

Состояние умов и общества в начале 1917 года очень хорошо просматривается, когда, к примеру, листаешь подшивку того самого «Северного утра», с которым напрямую связано очень важное время в жизни и самого Леонида Леонова, и его отца.

Первая и четвертая полосы газеты были, как правило, переполнены разнообразной рекламой и любопытными анонсами. В первом номере за 1917 год на первой полосе можно увидеть объявления о спектаклях Интимного театра, Электротеатра, а также о постановке «Мулен Руж». На последней полосе той же газеты неизменно продают свиней, ищут нянь, бонн и кухарок. Максим Леонов-Горемыка из номера в номер пишет о поэтах-самородках, крайне редко делая исключение то для местного художника, то для столичного певца, то для поборников трезвости.

Начиная с февраля и «Северное утро», и сотни других российских газет всё больше уделяют места новостям о брожениях в Государственной думе. К примеру, в номере «Северного утра» от 17 февраля публикуются шумные выступления ультраправого Владимира Пуришкевича и лидера кадетов Павла Милюкова; и здесь же новые стихи Леонида Леонова:

«Нет времени. Есть только человек,/ И жизнь его недлинна, как зарница./
Люди часто скопища калек,/ Свободны мы? Калеки или птицы?/ Вы грезите,
пока суровый век/ Не повернет железные страницы».

Очень актуальные в те дни стихи, надо сказать.

В номере от 19 февраля Леонов признаётся, что «...сегодня напился/ Раскаленного солнца,/ Я поверил, свободный,/ В предвесенние сны!» – и когда бы не наглядное эпигонство первых его опытов, вполне можно было бы говорить о поэтической прозорливости юноши.

22 февраля появляется стихотворение о войне, с финалом: «Сергей убит. Так просто и жестоко./ Сергей убит и больше ничего».

Страна между тем вступала в новые, неповоротные времена. Леонид по-прежнему живет в Москве с матерью и братом, следит за всеми новостями: в газетах читает о том, что происходит в Петрограде, своими глазами видит, как развиваются события в белокаменной.

23 февраля 1917-го в Петрограде началась забастовка, к 27-му она стала всеобщей, и войска Петроградского гарнизона перешли на сторону восставших.

Московские власти пытались сдержать ситуацию. Было объявлено осадное положение: демонстрации запретили, на улицы выкатили пушки, газетам запретили печатать новости о Петроградских событиях.

Но ничего остановить уже было нельзя: 28 февраля начинаются стачки и в Москве.

Забавное совпадение: в тот же день, 28 февраля, «Северное утро» сообщает о юбилее творческой деятельности Максима Леоновича Леонова: первое свое стихотворение он напечатал тридцать лет назад. Половину номера занимают здравицы и стихи в честь юбиляра, в том числе поздравления его новой жены – Марии Чернышевой. В номере объявляется, что юбилейного обеда в честь Максима Леоновича пока не будет, так как не удалось подыскать подходящего помещения: «...единственный в настоящее время в Архангельске ресторан “Барь” не может вместить всех желающих». В итоге чествование перенесли на 5 марта.

28 же февраля в приказе по Московскому гарнизону сообщалось, что 1 марта будет отслужена очередная панихида по в бозе почившему в 1881 году императору Александру II, и посему в этот день предлагалось «в барабаны не бить и музыке не играть». Но все получилось ровно наоборот: улицы заполнили тысячи людей, развевались красные флаги, было шумно, буйно,

радостно. Леонов за всем этим наблюдал, разделяя общие чувства: нравилось, что праздник на дворе и «раскаленное солнце» катится в гости к нам.

2 марта главные городские объекты Москвы были захвачены восставшими, а губернатор, градоначальник, командующий военным округом – арестованы.

В тот же день Николай II подписал отречение от престола. В гимназии Леонова вскоре объявят об этом, и Леонид от радости наклеит в учебной тетради карикатуру на царя – что наглядно иллюстрирует его взгляды той поры.

4 марта «Северное утро» выходит с подзаголовком «Свободная Россия». От чтения газеты возникает ощущение веселого, весеннего шума: каждый старается перекричать всякого. Тут и выступления Керенского и Милюкова, и срочная телеграмма Великого князя Николая Николаевича, и очередное объявление, что «ввиду событий, переживаемых нашей Родиной», 5 марта юбилейный вечер Максима Леонова-Горемыки вновь не состоится. Не до юбилеев!

8 марта отец Леонова публикует свои преисполненные радости стихи: «Мы себе свободу с бою взяли,/ За свободу нашу золотую/ Долго мы по тюрьмам голодали,/ Проклиная долю горевую». В следующем номере Филипп Шкулёв пишет передовицу «Великие события», где объявляет «Великое русское спасибо всем спасителям нашей Родины, работающим в Государственной думе и кующим счастье и благо истстрадавшемуся русскому народу».

Спустя неделю, 15 марта, Леонид Леонов дает в газете новое свое стихотворение, полное тех же эмоций:

«Вейтесь,/ Вейтесь, красные флаги свободы,/ Красные флаги, кровью
залитые/ Кровью отчаянья, кровью народа/ Вейтесь!»

Под публикацией Леонида небольшое стихотворение Демьяна Бедного, где он восклицает: «Какое зрелище: повешен/ Палач на собственной веревке». Следует пояснить, что в виду имеется царизм.

Несмотря на радость Демьяна Бедного и обилие крови в стихах Леонида, Максим Леонович в том же номере, словно предчувствуя что-то, пишет целую передовицу под названием «Без Маратов»: «К свободе идем мы без гильотины», – то ли радуется он, то ли пытается заговорить будущее.

2 апреля «Северное утро» выходит с подзаголовком «Христос Воскресе!». Номера, посвященные святому празднику, были в газете традиционными, ежегодными.

В том 1917 году Пасха как никогда пришлась вовремя, совпав с народным ликованием по поводу революционного обновления. И в Москве, и в Архангельске на улицы вышли десятки тысяч людей – все в красных бантах, все радостны.

Характерно, что Леонид Леонов, публиковавшийся в «Северном утре» постоянно, стихи на пасхальную тематику опубликовал только один раз – в том самом апреле семнадцатого. И в номере, полном благодати и восхищения, его стихотворение смотрится несколько странно.

Называется оно «Монастырь». В нем, завидев весну, которая идет «как прелестная девушка с золотыми кудрями», молодой инок сначала улыбается, а затем плачет. В конце концов, у него «на полночной молитве/ Голубые, печальные умирают глаза». Завершается стихотворение так:

«Порыжелые/ Мхи зацвели на заброшенной башне./ Золотые кресты
заплелись в облаках без предела./ А черемуха блески роняет./ На пашни./
Белые».

На фоне иных, благостно настроенных авторов – «...летят, гудят стогласные/ Могучие, привольные,/ Звонящие, прекрасные/ Напевы колокольные...» – создается ощущение, что Леонов нечто иное, смутное испытывает к святому празднику, что и сам сформулировать пока не в силах.

Можно попытаться разгадать смысл леоновских метафор, но, верно, этого не стоит делать: стихотворение явно выстроено не рассудком, а некими иррациональными, еще невнятно артикулированными чувствами. Однако и здесь уже слышны определенные созвучия с будущей прозой Леонова, а именно – с описанием безрадостной монастырской жизни в романе «Соть».

Гимназия

Несмотря на революцию, гимназия, где учился Леонид, продолжала свою работу.

«Обучение было поставлено превосходно, – вспоминал Леонов много лет спустя. – До восьмого класса мы ходили в парах, волосы отращивать не разрешалось...

<...> Сама гимназия помещалась в бывшем доме князя Пожарского (его потом разрушили) <...> Требовали и добивались знаний. Приходит учитель истории Вячеслав Владимирович Смирнов. Статский советник. Тишина полная. Вызывает ученика: “Говорите о Шуйском...” Слушает ответ, не перебивая и не поправляя. Потом таким же ровным голосом: “Садитесь. Два...”».

Директором гимназии был действительный статский советник Николай Иванович Виноградов. «Лингвист в генеральском мундире», – так определил его Леонов позже.

В романе Леонова «Дорога на Океан» есть эпизодическое описание некоего директора гимназии, в котором угадывается и Николай Иванович:

«Нельзя было забыть этого большелобого надменного человека – только нимба не хватало вокруг его головы. Он носил синий диагональный форменный пиджак на красной генеральской подкладке и с гербовыми пуговицами. Воспитанники старших классов шутили, что, даже лаская жену, он не снимал с себя парадного мундира, чтоб не забывалась».

Господин Виноградов последовательно сдерживал вольный дух возбужденных гимназистов. Разве что портреты Государя со стен гимназии снимали: однажды утром гимназисты пришли в школу и обнаружили огромные порожелые квадраты на стенах – здесь был Император.

Но порядок в гимназии по-прежнему царил идеальный. Требовали все так же много, учащиеся до остервенения зубрили латынь. Однако уже в юности Леонов был усидчив, упрям и дисциплинирован, так что внешнее воздействие гимназической муштры никакого заметного влияния на него не оказывало. К тому ж и к латыни он имел последовательный, врожденный интерес.

С 1917 года Леонов дает частные уроки – кстати, тот рубль, что вручил он кухарке Брюсова, как раз уроками и был заработан.

Леонид посещает гимназический литературный кружок, состоявший из 19 человек; заходит на воскресные классы живописи – здесь выяснилось, что и к рисованию мальчик имеет дар.

Отец его, Максим Леонович, упоминает в своих донные неопубликованных воспоминаниях: «...был в Москве у сына. Рисует великолепно. Директор гимназии обратил на него серьезное внимание».

Тут важна формулировка: «был у сына». Не у бывшей жены, заметьте; да и сын Леонид – не единственный. Но, видимо, именно с ним отец связывал самые большие свои надежды.

Вернувшись в Архангельск, Максим Леонович все никак не может справить свой юбилей: в апреле его перенесли на май, в мае снова оказалось некогда.

Летние каникулы Лёна проводит у отца.

Между тем начинавшееся в стране как безусловный праздник понемногу превращалось в лихорадку. В июле большевики берут курс на вооруженное восстание. В Архангельске об этом, естественно, никто не знает, но в том же июле на страницах «Северного утра» впервые упоминается имя Владимира Ленина.

Юбилей Максима Леоновича, спустя полгода после первоначального объявления, все-таки отмечают – как раз в ресторане «Баръ», от которого отказались поначалу. Лёна Леонов там присутствовал. Поздравляющие чествовали Максима Леоновича как второго после Спиридона Дрожжина поэта-самородка в России. Подарили ему столовые часы и «роскошный серебряный подстаканник» – так написали в газете на следующий день. Между прочим, деньги, собранные для подарка, Максим Леонович под аплодисменты собравшихся предложил передать «на образование фонда имени М.Леонова для оказания помощи престарелым деятелям печати».

Забегая вперед, скажем, что фонд создан был, но вовсе не для помощи газетчикам и журналистам.

В беспокойную осень 1917-го Леонид возвращается в Москву. Ему предстоит отучиться последний сезон в гимназии.

Он пишет работу по роману Достоевского «Идиот», проникается темой настолько, что в неврозе заболевает лихорадкой – к счастью, болезнь быстро проходит.

Той осенью неожиданно умирает гроза и надежда Зарядья городской Басов, словно предвещая своей смертью скорый разор и разлом этих мест.

В том же семнадцатом году, завершая своей жизнью эпоху, уходит в мир иной и дед Леон Леонович. Еще одним родным человеком на земле для Лёны Леонова становится меньше.

Незадолго до смерти собрался дед уйти в монастырь. Раздумывал даже все свои немалые накопления – 17 тысяч – передать церкви. В гости к деду то и дело ходили монахи.

Неизвестно, с натуры ли срисовал их внешний вид Леонов в «Барсуках» или позже наделил печальных гостей прототипа деда такими чертами:

«...у всех равно были замедленные, осторожные движения и вкрадчивая, журчащая речь. Иные пахли ладаном, иные – мылом, иные – смесью меди и селедки».

Так и не ушел дед в монастырь.

Большевики пришли

27 октября 1917 года «Северное утро» публикует историческую телеграмму:

«Петроградское телеграфное агентство уведомляет, что будучи занято комиссаром военно-революционного комитета <...> оно лишено возможности передавать сведения о происходящих событиях».

За два дня до этого, 25 октября по старому стилю, большевики взяли в Петрограде власть. Москва еще держалась. Здесь скопилось множество офицеров, юнкеров из Александровского и Алексеевского училищ и школ прапорщиков – до двадцати тысяч человек.

Московская городская дума создала «Комитет общественной безопасности». Было объявлено военное положение. Власть потребовала разоружения революционных частей. На Красной площади произошло первое, с убитыми и ранеными, столкновение юнкеров и отряда революционных солдат-«двинцев».

28 октября началась всеобщая забастовка. Леонов слышал, видел многое, потом дал в «Барсуках» несколько точных штрихов, описывая те дни:

«...В ту минуту над опустелыми улицами Зарядья грохнула первая шрапнель. <...>

Зарядье казалось совсем безлюдным. Воздух над ним трещал, как сухое бревно, ломаемое буйной силой пополам. <...>

Вшивая гора стреляла, как вулкан. Отдельные всплески пушечных выстрелов соединялись между собой, как цепочкой, несчастным постукиванием пулеметов».

Стрельба шла по всему городу, тут и там возникали стихийные бои.

Большевикам, которым поначалу не хватало оружия, явно и неспроста везло: история с неясной целью подыгрывала им. Некий рабочий находит на железнодорожных путях в Сокольниках несколько вагонов, в которых оказалось... 40 тысяч винтовок. Хитрая на выдумки голь с ходу создает «бронепоезда» из грузовых вагонов, обложенных листами железа и мешками с песком. В Москву прибывают подкрепления из Владимира, Иваново-Вознесенска, Шуи, Твери, Коврова.

2 ноября «Комитет общественной безопасности» капитулирует. Ранним утром 3 ноября большевики вступают в Кремль.

...Гимназия, где учится Леонов, по-прежнему открыта. И живет своей, даже не вчерашней, а позавчерашней уже жизнью.

В феврале 1918 года Леонид и Наум Белинский делают на гектографе гимназический журнал «Девятнадцать». Помимо сочинений других 18 гимназистов, там опубликованы стихи Леонова и один из первых его прозаических опытов – сказка «Царь и Афоня»: о крестьянине, который, как водится, пленил царскую дочь красотой и игрой на гуслях, а царя – сообразительностью.

В предисловии к журналу сообщается, что на одном из собраний кружка Леонов читал свою прозу: пять своеобразных текстов, в числе которых оригинальное повествование «Мир», где «земная наша жизнь изображается как вечная пляска поколений».

«В отличие от этого сочинения, четыре других, прочитанных им, отличаются комическим элементом и как своим сюжетом, так и формой и обстановкой действия напоминают народные сказки».

В том же месяце Леонид Леонов оканчивает гимназию с серебряной медалью (четверка по математике). Вскоре медаль окажется чуть ли не единственной ценностью семейства Леоновых.

В конце 1917-го отменяется частная собственность на недвижимость; вскоре начинается переселение рабочих из чердаков и подвалов в хорошее жилье, которое занято всевозможными «нетрудовыми элементами».

10 марта 1918 года ввиду германской угрозы съезд Советов принимает решение временно перенести столицу из Петрограда в Москву. На следующий день поезд с членами советского правительства прибывает на Николаевский вокзал. Ленин сначала поселяется в гостинице «Националь», а 19 марта переезжает в Кремль.

Семнадцать тысяч рублей, которые по малому грошику скопил дед Леон Леонович, были изъяты в пользу новой власти. Дед по матери никакого наследства не оставил.

Еще 21 февраля 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет «Социалистическое отечество в опасности!», который постановлял, что «неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления». Ранней весной по Москве распространяются страшные слухи, что новые власти будут расстреливать поголовно всех гимназистов.

Мать решает, что брат Боря отправится в Ярославскую область, в Ескино, а Лёна – переждать смуту к отцу. Мария Петровна Леонова еще надеется, что всё устроится и утрясется. По уговору с матерью Леонид собирался вернуться назад осенью, чтобы поступить на медицинский факультет Московского университета.

Как мы видим, он еще не думал связывать жизнь с искусством, будь то ремесло литератора или художника.

Леонид едет в Архангельск, но всерьез вернуться в Москву ему удастся лишь через несколько лет, перед тем исколесив половину России, от Белого до Черного моря.

Год поэтический

Жила новая семья Леонова-Горемыки в двухэтажном деревянном доме купца Тимофеева. Жена Максима Леоновича относилась к Лёне вполне приветливо.

На работу отец с сыном ходили пешком: до редакции было минут пять. Фасадную часть добротного каменного здания, выходившего на Соборную улицу, занимало отделение Русского банка внешней торговли, а в двухэтажной пристройке во дворе помещались редакция и типография газеты.

«Северное утро» в силу материальных причин закрылось, но Максим Леонович нашел возможности для того, чтобы самому и в качестве издателя, и в качестве редактора незадолго до приезда сына начать выпуск другой газеты. Он называет ее «Северный день», и 15 января 1918 года выходит первый номер издания.

Теперь настроение у Максима Леоновича совсем иное: и следа нет того ликования, что испытывали все год назад, когда произошедший в стране переворот на страницах его газеты именовали «чудом».

«При тяжелых условиях современного нестроительства России приходится нам приступать к изданию нашего нового молодого органа. Вовлеченная в ужасную четырехлетнюю, беспримерную в летописях человеческих войн, наша исстрадавшаяся родина вконец разорена...» – так выглядело обращение к читателю в первом номере «Северного дня».

Добравшийся до Архангельска Леонид Леонов быстро освоил все смежные профессии в газетном деле: отныне он и корректор, и наборщик, и печатник, и журналист, и заведующий театральным отделом. (Исследователь творчества писателя Валентин Ковалёв сосчитал, что за год работы в газете Леонид, помимо стихов и прозы, опубликовал 40 театральных рецензий, 2 рецензии на книги, 2 статьи о художниках, 1 рецензию на симфонический концерт, 1 рецензию на лекцию столичного лектора и 2 некролога.)

«Северный день» пишет об отделении Украины, о вооруженном подавлении забастовок в других городах страны – и вину за все это возлагает, естественно, на новую власть.

«Русско-финляндский договор характеризует еще ярче, чем брестский, отношение Советской власти к русским интересам, – возмущенно сообщает в одном из мартовских номеров «Северный день». – <...> Согласно параграфу 15 финско-русского договора, подписанного 1 марта, “в полную собственность” Финляндии поступает территория на Севере, принадлежавшая до сих пор России».

Одновременно издатели газеты считают своим долгом сказать:

«Переживая такое тяжелое время – время смуты на Руси, нельзя не отметить одного факта. Кому мы, граждане гор. Архангельска, обязаны за наше городское спокойствие? <...> Чья сильная рука сумела удержать и удерживает толпу, готовую ежеминутно перевернуть все вверх дном? <...> За все это мы обязаны нашим товарищам и гражданам матросам».

Вместе с тем «Северный день» позволяет себе опубликовать и обращение патриарха Тихона «О событиях дня»:

«Тяжелое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской земле: гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело

Христово и вместо любви Христовой всюду сеять семена злобы, ненависти и братоубийства».

В мартовские дни в Архангельске проходит крестный ход. В газете напишут: «...многочисленный крестный ход показал, что православный народ любит свою веру и свято чтит свои обычаи».

Взгляды Лёны и его отца того времени можно определить как правоэсеровские: при том что правые эсеры уже находились с большевиками в конфронтации, а летом 1918 года решением ВЦИК представители этой организации будут исключены из Советов всех уровней.

Но не будем забывать, что в самом Архангельске все это время сохранялась старая структура администрации. Действовала городская управа, и влияние правых эсеров и меньшевиков в местном Совете было очень серьезным, что до поры до времени сдерживало большевиков в их деяниях.

Однако сама жизнь в Архангельске день ото дня становилась все труднее. Горожане начинают бедствовать и голодать. Воцарилась невнятица с деньгами. Леоновская газета сообщала, что архангельские торговцы не берут «керенки», крестьяне же просто гонят покупателей с «керенками» прочь.

Леоновым не без оснований казалось, что страна буквально разваливается и наступают мрачные времена.

21 марта 1918 года на первой полосе «Северного дня» появляется стихотворение Леонида Леонова «Хоругви».

Хоругвь, как известно, – особый вид знамен с иконами, носимых на длинных шестах во время крестных ходов.

Начинается стихотворение на высокой ноте:

«Да. Я знаю,/ В твоих первых походах/ Окровавлены будут хоругви твои/
И от края до края без начальных исходов/ Лебединая стая/ Пронесется вдали./
Но за первые стоны/ Будет песен так много.../ Будет первую правдою ложь./ И
в пути твоём белом будут тоже уклоны...»

Дальше стихотворение начинается путаться, сбиваться с ритма и заканчивается совершенно невнятно: «Будет новое нет. С вензелями твоими/ Будет снова хоругвь моя./ Узорная./ Твоя».

Но если посмотреть, какое стихотворение напечатано над текстом Леонида Леонова, замысел публикации станет чуть яснее. Выше опубликован Федор Сологуб с откровенным плачем: «Умертвили Россию мою,/ Схоронили в могиле немой!/ Я глубоко печаль затаю,/ Замолчу перед злою толпой:/ Спи в могиле, Россия моя,/ До желанной и светлой весны!»

Леонов нарочито заплетающимся слогом пишет о том же, что и Сологуб: об исходе лебединой России, о ее неожиданной смерти и о неизбежном воскрешении – в пору той самой желанной весны, когда можно будет вновь поднять узорные хоругви.

Пока же реальность за окном радужными надеждами не одаривала. Общая интонация газеты с каждым днем становится все более подавленной. «Северный день» рассказывает о сумятице в городе и безработице, о том, что телят, привозимых из деревень, зверски забивают прямо в лавках... и постоянно чувствуется, что издатели газеты что-то недоговаривают и раздражение их еще более сильно. Реклама постепенно исчезает из газеты, и с апреля из четырехполосной она становится двухполосной: далее большой ежедневник делать невыгодно.

Однако стихов Леонид пишет все больше: 1918 год в этом смысле наиболее «поэтический» в жизни Леонова. Тому благоприятствует и сама атмосфера вокруг, и возраст. Восемнадцатилетний юноша, переехавший из Москвы в сумрачный, снежный город, видит повсюду хаос и предчувствует новые беды... И вместе с тем в текстах его появляются любовные мотивы: в течение весны восемнадцатого года публикуются как минимум два лирических стихотворе-

ния Леонова с посвящениями: А.И.Кульчицкой (опять в северянинском духе: «...Прикатил с виолончелью на фиалковой коляске/ В городскую суматоху златосотканый Апрель...») и некоей Лидии В-ой (романсовое, о том, что «...твоя душа опять сливается с моей/ Как пламя и хрусталь, как яд и дно бокала»).

Помимо посвящений были и такие, в духе Блока, зарисовки:

«В переулках, тоскою окрашенных,/ Лишь заснет утомленная гладь,/ Превращалась из белых монашенок/ В полупьяных кокоток опять./ Уж не ты ли бродила бульварами,/ Промокавшими в визге дождя,/ С молодыми, безусыми, старыми/ Бесшабашную жизнь проводя».

Бурные времена способствуют размышлениям на подобные темы. В одном из апрельских номеров «Северного дня» передовица называется «Безумное оскорбление женщины!». Речь идет о том, что «саратовскими анархистами издан декрет об отмене права частного владения женщинами», – проще говоря, законодательно утверждена общая принадлежность слабого пола. «Проповедь поголовного разврата», – так характеризуют в газете происходящее.

В том же апреле в Архангельск приезжает с гастролью актриса Е.Т.Жихарева. Леонов посещает несколько спектаклей с ее участием и в одной из рецензий, опубликованных в «Северном дне», пишет о постановке:

«“Магда” не отличается особенной глубиной мысли, но вследствие массы эффектных сцен и обилия затронутых в пьесе животрепещущих вопросов распада семьи до сих пор не сходит со сцены».

Из этого можно заключить, что распад леоновской семьи, случившийся почти восемь лет назад, оставался для Леонида темой важной и до сих пор болезненной.

Интервенция

20 апреля в «Северном дне» опубликована важная передовица:

«Всецело подчинив своей суверенной воле новоявленную “независимую Финляндию”, Германия стремится охватить Россию не только с северо-запада, но и с Крайнего Севера. С этой целью она посылает, согласно последним телеграфным сведениям, финско-германские отряды на наш Кольский полуостров, наперерез Мурманской железной дороге. <...> Троцкий ответил приказом “принять всякое содействие со стороны союзников”. Во исполнение этого приказа между представителями Мурманского Совета и представителями англичан и французов состоялось соглашение, по которому последние признали Совет высшею властью на Мурмане, обещали не вмешиваться во внутренние дела края и обеспечили нам существенную помощь людьми и “всем необходимым”. <...> Нужно ли прибавлять, что та помощь, которую наши союзники решили оказывать нам на нашем северном побережье, не имеет ничего общего ни с какой оккупацией?»

Именно так, при непродуманном пособничестве самих же большевиков, начиналась история пресловутого захвата интервентами русского Севера, и в том числе Архангельского края.

Председателем Мурманского Совета был Алексей Юрьев, прибывший на Север осенью 1917 года из Нью-Йорка. Во время Первой мировой он сотрудничал с Троцким в издаваемой в США русскоязычной газете «Новый мир», что обеспечило Юрьеву стремительную карьеру.

Ситуация и вправду была непростой: угроза со стороны финско-германских войск имела место, а Красная армия только-только создавалась. В итоге Троцкий, не согласовав свое решение с Лениным, действительно дал указание Юрьеву принять союзников. 9 марта на побережье был высажен первый десант.

Леоновых эта весть обрадовала.

В их понимании бывшие союзники (бывшие, потому что ранее советская власть разорвала все договоры с ними) не просто гарантировали безопасность от финско-германской агрессии: с ними связывали надежду на восстановление порядка в самой России.

Стихи, которые Леонид Леонов публикует теперь в каждом номере (по два стихотворения ежедневно), явно показывают его отношение к происходящему в стране.

Вот стихотворение, вышедшее в том же номере, где появилось известие о скором приходе союзников:

«...но когда ты заклеишь плакатами/ Потемневшие лики святых,/ Приходи со цветами измятыми/ В ореоле огней площадных –/ Обовью тебя радостью братскою/ И терновым венцом обовью.../ И прикрою я гунькой кабацкою/ Поседевшую душу твою».

Лирическая героиня стихотворения – падшая Россия-Дева, позволившая поверх ликов святых наклеить безбожные плакаты новой власти.

И на следующий же день:

«...А ночь темна... Поля закрыты мутью.../ И по полям, веригами гремя,/ Бредет страна к желанному распутью/ На эшафот прославленного дня./ И вместе с ней, распятой и безвольной,/ Иду и я в свинцовом клобуке./ И виден мне платочек богомольный/ Да посошок в израненной руке».

В те же дни газета не без удовольствия рассказывала, как английское правительство собирается помогать архангельскому краю: речь шла и о прямых поставках продуктов, и о поддержке развития рыбного промысла. «Англичане согласны прислать в наше распоряжение два трайлера», – сообщал «Северный день».

Может, англичане не дадут «распятой и безвольной» стране добрести до эшафота? – таков настрой Леоновых.

Леонид знакомится с местными молодыми литераторами и дает им в «Северном дне» отповедь, рецензируя архангельский ежемесячник «Юность»: «Везде, во всех кружках, где мне приходилось бывать (“Самообразование”, “Пламя” в Москве, Дом юношества в Рязани), везде одно и то же. Безусые молодые люди с нахмуренными лицами до хрипоты кричат о каких-нибудь “пленарных” заседаниях художественной подсекции кружка. Зачем эта игра? <...> Больше простоты! Я знаю единственный ученический журнал Москвы, избегнувший этой участи, – “Девятнадцать”. “Юность” не избегла общей участи».

В данной заметке Леонид лукаво забывает упомянуть о том, что журнал «Девятнадцать» в Москве именно он и делал с друзьями-гимназистами.

Тогда же происходит одно из самых важных для него знакомств той поры: с художником и сказочником Степаном Писаховым, оказавшим на раннюю прозу Леонова определяющее влияние. Та сказовая леоновская манера, которую некоторые исследователи возводят к Ремизову, наследует, конечно же, живому языку Севера, впервые столь точно услышанному именно Писаховым.

Писахову в 1918-м было тридцать девять лет. Сын Года Пейсаха, крестившегося и ставшего Григорием Писаховым, он родился в Архангельске, уехал сначала в Казань, а затем в Петербург учиться на художника, где в 1905 году за участие в революционных событиях был лишен права продолжить образование. Осенью того же года попал в Иерусалим, остался без гроша, служил писарем у архиерея в Вифлееме; получил разрешение у турецких властей на право рисовать во всех городах Турции и Сирии, оттуда уехал в Египет... Затем были Италия, Греция, Франция. В Париже почти целую зиму занимался в Свободной академии художеств.

Участвовал в войне, послужил ратником ополчения в Финляндии, в 1916-м был переведен в Кронштадт, где встретил Февральскую революцию и поработал в Кронштадтском Совете рабочих и солдатских депутатов. Демобилизовался и в восемнадцатом году вернулся в Архангельск.

Писахов знал с Максимом Леоновичем (к последнему вообще в городе относились с уважением). В те годы Степан Григорьевич начал сочинять сказки, и две из них уже были опубликованы в «Северном утре».

Для Леонида знакомство с Писаховым было настоящей душевной радостью.

3 мая 1918-го с анонсом на первой полосе был опубликован очерк Леонида Леонова «Поэт Севера» с подзаголовком «У художника С.Г.Писахова».

«...Маленькая комната, на стенах и мольбертах небольшие холсты с широкими смелыми мазками. Степан Григорьевич любезно показывает этюды... И тогда как-то незаметно чувствуешь, как идешь по мутно-зеленому ковру тундр, по ледяному паркету новоземельских скал».

Писахов поделился с любопытствующим юношей рассказами о Новой земле, показывал не только картины, но и фотографии: минареты Стамбула, римские соборы, Сахару...

Договорились о том, что Писахову необходимо устроить выставку в Архангельске. Леонид стал помогать своему новому другу, который, несмотря на молодой, в сущности, возраст, воспринимался как человек пожилой: с такой-то, вместившей десятки стран и сотни встреч, биографией.

Сошлись они, кстати, и в политических взглядах: Писахов не скрывал, что с нетерпением ожидает союзников, в большевиках же видел он натуральных разбойников.

В начале мая Архангельск всем миром – помимо «товарищей матросов» – отмечает Пасху. Но в «Северном дне», где Леонид Леонов давно уже является ежедневным автором поэтической странички, впервые за долгое время не публикуются его стихотворения.

Зато в недавнем, от 1 мая, номере опубликованы его «Сны» – стихи о Дьяволе, под сутаной которого, по словам молодого поэта, спрятан Христос.

Другая жизнь

На председателя Мурманского Совета Юрьева пытались давить из Москвы, ему лично звонил нарком по делам национальностей Иосиф Сталин:

«Вы, кажется, немножко попались, теперь необходимо выпутаться. Наличие своих войск в Мурманском районе и оказанную Мурману фактическую поддержку англичане могут использовать при дальнейшем осложнении международной конъюнктуры как основание для оккупации. Если вы добьетесь письменного подтверждения заявления англичан и французов против возможной оккупации, это будет первым шагом к ликвидации того запутанного положения, которое создалось, по нашему мнению, помимо вашей воли».

Но Юрьев то ли не смог совладать с ситуацией, то ли уже вступил в некие договоренности с бывшими союзниками Российской империи.

Почувствовав в среде горожан усиление просоюзнических настроений, 29 апреля 1918 года отдел архангельского Губисполкома по борьбе с контрреволюцией предложил владельцам типографий воздержаться от антисоветских воззваний и объявлений. Не то – конфискуем имущество, пообещал Губисполком.

В «Северном дне» обращение Губисполкома восприняли с точностью до наоборот. 12 мая в газете была опубликована редакционная статья с прямым призывом к свержению советской власти.

В тот же день Губисполком выпустил приказ о закрытии «буржуазной газеты» «Северный день» и аресте Максима Леоновича Леонова. Но на следующий день вопрос каким-то образом был разрешен, и ни закрытия газеты не произошло, ни ареста Максима Леоновича. По всей видимости, архангельский Губисполком чувствовал себя не настолько уверенно, чтоб идти на прямые репрессии.

Редакции «Северного дня» было сделано внушение. И действительно, антибольшевистские материалы со страниц газеты исчезли, зато стали появляться горячие депеши из Москвы.

13 мая 1918 года «Северный день» публикует «Приказ всем губернским уездным и волостным совдепам и крепдепам о создании крепкой и строго организованной Красной Армии». Приказ подписали председатель ЦИК Свердлов, председатель Совнаркома Ленин, нарком по военным делам Троцкий.

Во второй половине июня в газете появляется приказ о введении в районе всего Архангельского порта военного положения.

Город при том старается жить вполне себе светской жизнью. Леонид Леонов по-прежнему регулярно отчитывается о театральных постановках. В Театре Гагаринского сквера он смотрит комедию Шаха «Ее первая любовь» и постановку по пьесе Андреева «Gaudeamus». «Холодная погода не повлияла на сборы», – замечает Леонов в рецензии. Затем посещает «Коварство и любовь» Шиллера («Театр полон», – вновь отчитывается он) и «Распятую» Лернера.

Только 3 июля «Северный день» публикует запоздалое «Оповещение»:

«Председатель Мурманского Совдепа Юрьев, перешедший на сторону англо-французских империалистов и участвующий во враждебных действиях против Советской республики, объявляется врагом народа. Лев Троцкий».

В июле в Архангельске начинается хлебный кризис. Газета Леоновых сообщает, что «выдача муки населению прекращается, кроме детей до 5-летнего возраста». Горожане всё

более шумно винят в своих бедах большевистскую власть и уже с нескрываемым нетерпением ждут союзников, которые начали движение в сторону Архангельска.

Ни приближение чужеземных войск, ни перебои с хлебом не мешают не только новым театральным постановкам, но и выставке Степана Писахова, которая во многом стараниями Леоновых все-таки открылась 21 июля в зале Публичной библиотеки.

Степан Григорьевич и Леонид становятся до такой степени дружны, что вскоре после выставки решают вдвоем отправиться в Москву: устроить показ картин Писахова и в столице.

За пару дней до отъезда, 26 июля, «Северный день» сообщает о расстреле Николая II. «Новое место пребывания Александры Федоровны и дочерей держится в тайне», – сказано в той же новости... Пять лет назад Леонид видел государя императора своими глазами. Но в тот июль известие о смерти царя его не ошарашило: Леонов сам признался в этом спустя многие годы.

Пока Степан Григорьевич и Леонид двигались в сторону столицы, 31 июля союзники взяли Онегу, а 2 августа англо-франко-американская эскадра в составе семнадцати кораблей причалила к Архангельску, и новые хозяева русского Севера вошли в город.

Большевики оставили Архангельск заранее.

Официально союзники были приглашены в город антибольшевистскими силами. Британский консул в Архангельске Дуглас Янг вспоминал:

«После того как большевики покинули Архангельск, был разыгран спектакль “приглашения” союзников вступить в город. Приглашение было послано от каждого из соперничающих претендентов на власть: одно – от Н.Чайковского, “народного социалиста”, другое – от банды офицеров из пресловутой “дикой дивизии”, которая сразу же после ухода большевиков быстро захватила сейф военного штаба и начала делить между собой несколько миллионов рублей».

Как бы то ни было, едва добравшись до Москвы, Леонов с Писаховым, так ничего и не сделав из задуманного, развернулись и тронулись обратно. К своим!

В биографиях Леонова факт его пребывания на оккупированной территории интерпретировался однозначно: в Архангельск пришли захватчики, и будущий писатель не смог вернуться в советскую Москву. Но все обстояло как раз наоборот: он именно что бросил столицу и спешно отправился навстречу оккупантам.

Сразу по возвращении свое муторное путешествие Леонид описал в «Северном дне».

В Москве добыли билеты на поезд до самого дома. Но в Вологде состав остановился.

«...К вагону, – пишет Леонов, – подошел человек в форменной фуражке и ласково сказал:

– Вагон дальше не пойдет!

Мы посмотрели на него с недоумением.

– Позвольте! Если вагон не пойдет – так поезд пойдет?

– И поезд не пойдет!

Человек в форменной фуражке любезно раскланялся, предупредив на прощание, что идут некоторые поезда, но поездка эта может кончиться тем, что многие из нас кончат свое брренное существование в рядах Красной Армии».

Каков леоновский тон, оцените! Что-де может быть гаже, чем очутиться среди красноармейцев, да еще и подохнуть вместе с ними.

Пришлось плыть на пароходе, в третьем классе: билеты в первый и второй уже были распроданы. Сначала до Устюга, оттуда до Котласа.

«А в Котласе, – сообщает Леонов, – уже стояли “коммунистические” пароходы с некоторыми из социал-бегунов во главе. Некоторые из последних заглянули на наш пароход, подумали и решили – выгнать вон с парохода!..

И нас торжественно высадили».

«Социал-бегунами», поясним, Леонов называет большевиков.

В Котласе путешественники с горем пополам пересели на баржу.

«Степану Григорьевичу, – рассказывает Леонов, – пришлось спать на столе – привилегированное положение в некотором роде. Настроение у нашей компании было хорошее, и покуда мы не падали духом, на баржу бежали жители, кричали и охали бабы, не зная, куда деваться со своим скарбом, куда бежать от грядущих бедствий, щедро обещанных коммунистическими оракулами.

Легли спать. Кто где мог – там и устроился.

Один из соучастников по этому “путешествию”, также принужденный преклонить свою буйную главу на худой, ветхой барже в эту холодную, мокрую ночь, засмеялся, увидев художника Писахова на столе.

– Отпевать его или он уже отпет?

Степан Григорьевич сквозь сон недовольно буркнул:

– “Отпетые” уезжают уже, и жаль, что не нам приходится хоронить их...»

Это он о большевиках так.

«...Утром, – продолжает Леонов, – мы узнали, что коммунистические пароходы уже “снялись с якорей”, и, может быть, вследствие их счастливого отплытия к далекой Белокаменной оставшиеся власти милостиво выдали нам по 1/2 фунта хлеба на человека. <...>

Уже к прибытию нашему в Пучугу – одну из деревень, лежавших на пути нашего путешествия, – женщины продавали обручальные кольца, подушки и драгоценности, не зная, что будет дальше».

В Пучуге их высадили снова, они нашли другую баржу, а Писахов опять пристроился подремать на столе. «Второй стол в моей жизни!» – пошутил он.

К вечеру опять высадились и пересели на лошадей, добрались до деревни Березняки, где встретили красноармейскую заставу, которую Леонов за чрезмерную вооруженность иронично обозвал в своей статье «громовержцами». Из Березняков Писахов, Леонов и трое их попутчиков отправились на Пянду. Там начали искать лодчонку, чтобы доплыть до Архангельска.

На этом берегу Леонову впервые пришлось столкнуться со смертью лицом к лицу.

По реке шла моторная лодка с красноармейцами: они подплыли почти вплотную и неожиданно дали залп по безоружным людям. Один, раненный в ногу, упал, второй был сразу убит. «Пуля вошла в висок и вышла через затылок», – констатирует Леонов в своих невеселых заметках.

Сам Леонид и Степан Григорьевич Писахов не были задеты первыми выстрелами и сразу отбежали от берега.

Красноармейцы причаливать и ловить беглецов не стали, сразу уплыли.

Писахов подхватил раненого, и они отправились в дом местного священника о. Александра.

«<...> очевидно, привыкнув к подобным перепалкам, мягко и любезно принял [о. Александр] пришедших, успокоил и видом своим, и своим радушным приемом и рассказал, что красноармейцы разгневаны на Пянду за то, что крестьяне, не будучи в состоянии дальше выдерживать реквизиции,

грабежи и поборы, смешанные с хулиганскими выходками со стороны “рабоче-крестьянской” армии, несколько раз сами выступали против державных негодяев и вступали с ними в довольно решительные стычки на Березянке.

О. Александр предложил чай, но мы были принуждены отказать за поздним временем и пошли обратно домой, в те крестьянские хаты, в которых мы разместились.

А к Пянде уже подходила красноармейская дружина, успевшая съездить за подкреплением в Березник».

«Воинственно бряцаая оружием», они, вспоминает Леонов, «опрашивали, где находятся недавно приехавшие люди».

Дом, где разместились путешественники, вскоре нашли и оцепили. И то были минуты, когда Леонов мог всерьез попрощаться с жизнью.

Но всё обошлось.

«...Широко размахивая красными руками, – пишет Леонов, – вошел комиссар (фамилия его, как мы после узнали, – Виноградов, один из “Архангельских”), постоял в дверях, плюнул в угол.

Свернув цыгарку, комиссар поинтересовался:

– Вы чего от берега убежали?

У путешественников, едва не перебитых несколько часов назад, от такого вопроса вовсе пропала речь, но, к счастью, за них вступилась хозяйка дома:

– Что ты, батюшка, окстись, в живых людей стреляешь, а еще спрашиваешь?

Комиссар самодовольно улыбнулся, плюнул еще раз и двинул свою тушу к дверям, вероятно, “углублять революцию” в соседних деревнях. <...> Осада с дома была снята».

Несчастные, испуганные и внутренне обозленные, они двинулись дальше.

«Двое, – вспоминает Леонов, – остались в Пянде. Один, “господин с пробитой головой”, как назвал его социал-палач, остался навсегда в земле, другой в больнице.

<...> При выезде из деревни снова, как из земли, выросла новая красноармейская застава. Эти уже совсем похожи на разбойников. Звериные оклики, зверское перемигивание, разухабистые широкие жесты...»

Но и эта встреча для путешественников закончилась благополучно.

«...На всем пути от Москвы до Устюга общее настроение крестьян таково – ждут, когда придут союзники и освободят наконец их от большевиков. <...> Во всех деревнях нас засыпали вопросами: “Скоро ли? Когда же!”» – рассказывает Леонов.

Белогвардейцев в статье своей Леонов называет не иначе как «народные отряды», а десант, захвативший Архангельск, – исключительно «союзниками».

Вернувшись, наконец, домой, они застали Архангельск ликующим. Подкрепления «союзников» горожане встречали как освободителей: по крайней мере те, кто выходил на парадную пристань Архангельского порта. Были среди них и Писахов с Леонидом Леоновым. Где же еще было находиться ему, сумевшему в пределах одной статьи назвать большевиков и «социал-палачами», и «социал-бегунами», и со зверями сравнить...

Любопытно, что при встрече «союзников» были подняты два флага: русский национальный и красный, что знаменовало верность не только родине, но и первой революции.

В кругу Леоновых тогда вздохнули говорили об объединении всех демократических сил, восстановлении порядка и возвращении тех земель, что стремительно растеряла заблудшая Россия.

Самый город обновился и ожил. Англичане завезли в город обувь и ткани; французы – шелка и духи. Архангельские женщины вдохновенно скупали заморские товары. Настроения в среде интеллигенции были самые радужные. Всем казалось, что большевистская власть осыплется по всей Руси столь же скоро, как скоро сбежала она из Архангельска.

Поначалу «союзники» были настроены более чем благожелательно. 2 августа 1918 года новое правительство выступило с декларацией, в которой заявило о взятых на себя обязательствах по восстановлению демократических свобод, в том числе свободы слова, печати и собраний. Еще через неделю торговые суда и прочее имущество судовладельцев, национализированное при советской власти, было возвращено прежним хозяевам. К власти пришла коалиция эсеров и кадетов, возглавляемая упомянутым выше народным социалистом Николаем Васильевичем Чайковским.

Правда, сразу вслед за декларацией о свободах главнокомандующий войсками «союзников» генерал Ф.К.Пуль «попросил» убрать с улиц красные флаги, что и было сделано, а затем издал приказ о запрещении митингов и сходок в Архангельске.

Военным губернатором Архангельска был назначен полковник французской армии Доноп, в его подчинение перешли все русские и союзнические офицеры в Архангельске. Доноп объявил в Архангельске военное положение и вскоре ввел военную цензуру на все печатные издания.

Уже 25 августа 1918 года были одновременно оштрафованы редакторы сразу четырех архангельских газет, в том числе и Максим Леонович Леонов – «за помещение заметки в отделе хроники и объявление о собрании социал-демократов и строительных рабочих без разрешения союзного контрольного отдела».

Недееспособное правительство Чайковского быстро потеряло всякое свое влияние. «Союзники» неожиданно взяли курс на военную диктатуру.

Но все это у Леоновых не вызывало отторжения: большевики им казались еще более отвратительными.

В «Северном дне» 16 октября 1918 года в заметке «Чашка чаю у С.Г.Писахова» рассказывалось об аукционе, устроенном художником. Вырученные от продажи картин деньги Писахов отдал в помощь «офицерам, прибывающим из местностей, занятых большевиками». «Чашепитие», где был и Леонид, сопровождалось произнесением тостов за здоровье «союзников»...

Мало того, Максим Леонович, как человек деятельный, возглавил Общество помощи воинам Северного фронта, о чем было объявлено на страницах «Северного дня». Так семья Леоновых вступила в прямое пособничество «союзникам» и Белой армии.

Леоновы продолжали выпускать свою газету, в целом поддерживая новую власть. У архангельской интеллигенции даже появилась возможность выпускать антологии. Так, Леонов-старший, Писахов и новый знакомый Леоновых писатель Борис Шергин организовали выпуск литературного сборника «На Севере дальнем». В городе начинал действовать кружок «Северный Парнас», активным участником которого, естественно, стал Леонид.

На исходе 1918 года Леонид Леонов начинает все чаще печатать в «Северном дне» свои прозаические вещи. Всего до декабря 1919 года он опубликует четыре сказки, в том числе написанную ранее «Царь и Афоня», три этюда и семь рассказов: «Епиха», «Телеграфист Опалимов», «Профессор Иван Платоныч», «Сонная явь», «Тоска», «Рыжебородый» и «Валина кукла» (последний будет позже переработан и войдет в большинство собраний сочинений Леонова).

Началось все с рассказа «Епиха», который Леонов написал по совету одного из сотрудников «Северного дня» Владимира Гадалина. Тот сказал, что Леониду стоит еще раз попробовать себя в прозе, и был прав.

«Епиха» был прочитан в литературном кружке «Северный Парнас». Собравшаяся публика осталась крайне довольной.

Рассказ не обошелся без нечисти: главным героем выведен угрюмый Епиха, молодой человек, который, мало того живет с бабкой-колдуньей, но и сам всевозможными способами ловко расправляется с «лешаками». В «Епихе» Леонов впервые упоминает имя Еноха.

В рассказе «Профессор Иван Платонович» главный герой, всю жизнь занимавшийся водорослями, до такой степени задумался о смысле жизни, что решил покончить жизнь самоубийством (впоследствии тем же способом завершит свои дни другой леоновский профессор – Грацианский). По вечерам Иван Платонович приглашал к себе пообщаться кучера Степана и однажды попросил его на своей книге о водорослях написать вместо «Проф. И.П.Вальков» – «Кучер Степан Семенович». Кучер так и сделал, за что и был немедленно изгнан профессором. Сам профессор выпрыгнул в окно.

«Тоска» – зарисовка о несчастном и некрасивом «маленьком человечке» Зеленцове, который, находясь в пивной, представляет себя герцогом, а местных проституток называет маркизами.

«Была темень, была ночь, в ночи – город, в городе улица, а на улице – я, господин Зеленцов. Да и интересно ли это кому-нибудь...» – так завершается зарисовка.

В рассказе «Сонная явь» некие любопытствующие господа устроили спиритический сеанс и общаются с духом Калигулы. Одновременно, под тем же спиритическим блюдецком, обнаруживается другой дух, рассказывающий историю об иконописце Григории, который, видя на иконах мучеников и страстотерпцев, мучительно стыдился своей молодости и силы. В итоге, когда участники сеанса засобирались домой, выяснилось, что в прихожей украли чью-то шубу.

«...Сия история должна послужить нравоучительным уроком в будущем: появление покойного императора Калигулы в длинные вечера не предвещает ничего хорошего. Впрочем, Калигула тут ни при чем».

В большинстве рассказов, при всем их очевидном несовершенстве, угадывается будущее парадоксальное леоновское мышление и, более того, все его основные темы, и самая главная из них – человеческая богооставленность.

Мотивы будущей повести «Петушихинский пролом» слышны в этюде «Мальчик Коля». Герою снятся чудовищные, совсем недетские сны:

«Будто подошел он к краю, а за краем провал, ну, думает, может быть, есть там что, а может быть, и нет ничего. Только издали кажется. И хочет подойти – и страшно. А дай, думает, подойду. Подошел – наклонился, увидел – упал. И так странно было, когда последние клочки земли ушли куда-то в сторону – а вдали бездна, внизу. И там... что было там, мальчик Коля не разглядел».

...Зато сам Лёна будет пытаться разглядеть всю жизнь. И именно эту бездну увидит еще в детстве герой романа «Пирамида», священник и еретик о. Матвей.

Юнкер № 636

20 августа 1918 года в Архангельске был принят закон о всеобщей воинской повинности.

«Призвать на действительную военную службу, – гласило Постановление, – в сроки, имеющие быть установленными Управляющим Военным Отделом Верховного Управления Северной Области, по соглашению с Управляющим Отделом Внутренних Дел, всех проживающих в пределах Северной Области граждан, родившихся в 1897, 1896, 1895, 1894 и 1898 годах».

Леонид Леонов под первый призыв не попадал: у него был еще год в запасе.

В ноябре 1918 года в Архангельск прибыл Владимир Марушевский – последний начальник генштаба армии при Временном правительстве. Вскоре после Октябрьской революции он был арестован большевиками, посажен в «Кресты», потом отпущен под «честное слово», которого, как видим, не сдержал.

Марушевский был назначен командующим еще не созданной Северной Белой армии. «Союзники» оказывали ему всяческое содействие. В подразделениях спешно организуемого воинства был восстановлен устав, знаки отличия и награды старой армии. Была проведена регистрация офицеров, и начался призыв их на военную службу.

Однако быстро создать действенную Северную армию не получалось. Набор происходил далеко не на добровольческой основе, людей не хватало, в итоге брали всех, пригодных по здоровью и возрасту.

Дело в том, что уже через несколько месяцев после прихода «союзников» настроение жителей Архангельска стало меняться на противоположное. Номинальный глава архангельского правительства Николай Чайковский докладывал в Омск Колчаку, что население живет исключительно нищенским пайком «союзников», рабочие отказываются работать, недовольных становится все больше.

В такой обстановке мобилизацию проводить было крайне сложно.

«Трудно передать настроение солдат, – писала осенью 1918 года архангельская газета «Возрождение Севера. – Тут и злоба на богачей, которые остаются в деревне, и зависть ко всякому, кто может спокойно сидеть дома, и над всем этим – упорное нежелание воевать. Жутко становится, когда слушаешь их речи. Одни ни за что не пойдут на войну, пусть лучше их убьют в деревне, другие пойдут, но при первом же случае перейдут к большевикам, чтобы опять восстановить “власть народа, власть бедноты”».

26 ноября 1918 года Леоновы присутствовали на военном параде, который Марушевский провел, дабы поднять боевой дух столь трудно собираемого Белого воинства.

После молебна в Кафедральном соборе парадом прошли роты, сформированные из Георгиевских кавалеров, по взводу от английской и итальянской пехоты, от американского полка и от польского и русско-французского легионов. Что до архангельских призывников, допущенных показать свою выправку, то выглядели они, как признал Марушевский в своих мемуарах, безобразно:

«Лица солдат были озлоблены, болезненны и неопрятны. Длинные волосы, небрежно одетые головные уборы, невычищенная обувь».

Видя такую армию, архангельское население впадало в апатию.

Один из мемуаристов, житель Архангельска В.Бартенев так описывал быт города зимой 1918/1919 года:

«Сказывалось истощение населения на почве недостаточного питания. Продовольственная норма по карточкам составляла: хлеба – по 3/4 ф. в день, сахару – по 1 ф. в месяц, соленой рыбы было довольно, около 1 р. 25 коп. – 1 р. 50 коп. за фунт трески, мяса иногда не хватало – 5–6 руб. за фунт. Многие питались кониной – по 3 р. 50 к. за фунт. Картофеля и других овощей вовсе не стало. Не было в продаже почти никаких круп. Масло было редко и доходило до 30–40 р. за фунт. Чувствовался недостаток в хорошем мыле. Его стали готовить здесь из тюленьей ворвани... В этом мыле недостатка не было, но качество его было невысокое. Очень сильно нуждались в табаке; в продаже его совсем не стало. Продажа его производилась из-под полы... Молока было достаточно, но оно было дорого: дешевле 1 р. 50 к. за бутылку достать его было трудно, на рынке оно доходило до трех рублей за бутылку.

В конце 1918 года голодная, истощенная, во всем разуверившаяся толпа молча и вяло прочитывала транспаранты, выставленные на стеклах Информационного бюро, и угрюмо расходилась по домам. Только кинематографы, да концерты, да разные танцульки были полны. Искали развлечений, хотели забыться. Собрания более серьезные и деловые часто не могли состояться из-за отсутствия кворума».

Не прибавляла оптимизма и контрразведка «союзников», которая работала не столько хорошо, сколько огульно: загребая всех, кто попался под дурную руку. Арестовывали не только за принадлежность к большевикам, но и за то, что родственники находились в Красной армии, и даже за переходы и переезды из одного места в другое без разрешения новых властей. Тюремны открывались одна за другой и были переполнены.

В этой атмосфере подошел срок призыва на воинскую службу и Леонида Леонова. Но бежать в Москву он вовсе не собирался.

Решением власти Северного края от 5 февраля 1919 года на действительную службу были призваны юноши, родившиеся в 1899 и 1900 годы. К тому времени уже были открыты Артиллерийская школа Северной области и Архангельская пулеметная школа. Незадолго до своего девятнадцатилетия, в марте 1919 года, Леонов был определен в первую из них – Артиллерийскую.

До революции обучение в артиллерийских школах было трехгодичным, но в условиях войны срок кардинально сократили.

Не выезжая из города и продолжая публиковаться в «Северном дне», Леонов получил начальные навыки артиллерийского дела. Преподавали в школе англичане и, как вспоминают современники, обращались с русским контингентом довольно грубо. Но, опять же, не настолько, чтобы Леонов бросил обучение и сломя голову пошел через кордоны навстречу Красной армии.

Приказ по Управлению Архангельского уездного коменданта № 160 от 9 июня 1919 года гласит:

«Юнкеров артиллерийской школы Северной области Бориса Благонадеждина, Дмитрия Васильева и Леонида Леонова, впредь до отбытия на фронт, зачислить на английский паек при сборном пункте от 6 сего июня. Справка: Аттестат школы за №№ 611, 618, 636».

Так начинается история юнкера № 636, а затем прапорщика Леонида Леонова.

Жаль, что не сохранилось его фотографий той поры! Подтянутый, молодой брюнет в белогвардейской форме английского образца. Этот снимок «украсил» бы любую советскую газету...

Как он выглядел, можно понять по сохранившемуся с той поры приказу о форме одежды по Артиллерийской школе. За неимением собственно русского обмундирования одеты юнкера были во всё британское; фуражка с кокардой; на погонах шифровка «А.Ш.», над ней – артиллерийский спецзнак, по краям погон – золотой галун.

Бывшие с Леоновым в одном призыве Борис Благондеждин и Дмитрий Васильев затеялись в кровавой сутолоке и бездорожье Гражданской войны, а ведь оказались бы интересны их рассказы о том, каким был тогда Леонид, как учился, что говорил другим юнкерам...

Долго пользоваться английским пайком, а также положенным им денежным довольствием (из расчета 100 рублей в месяц) Леонову и его товарищам по обучению в Артиллерийской школе не пришлось.

Уже 10 июня 1919 года был выпущен Приказ по Управлению Архангельского уездного коменданта № 161:

«Убывших по месту службы юнкеров артиллерийской школы Северной области Бориса Благондеждина, Дмитрия Васильева и Леонида Леонова исключить с английского пайка при сборном пункте с сего числа».

На фронт Леонова, судя по всему, пока не отправляют: он определен в Интендантский отдел Северного фронта. Но публиковаться как журналист Леонид больше не будет – теперь он офицер, и у него полно иных забот; последняя его статья в «Северном дне» выходит 31 мая 1919 года.

27 мая, накануне девятнадцатилетия Леонова, а затем 10 июня, в день его убытия на службу, жители Архангельска встречали два больших отряда английских солдат и офицеров. Город украсили союзными флагами. На Соборной улице вблизи речного спуска, недалеко от памятника Петру Великому, воздвигли высокую арку с надписью «Welcome!». Собралось все правительство, было если не радостно, то шумно. В который раз казалось, что не все еще потеряно...

В городе прошел бал, и либо в этот раз, либо в следующий Леонид познакомился и танцевал с Ксенией Гемп, будущей создательницей словаря поморских слов. Она была старше Леонова на пять лет и, к слову сказать, еще в 1912 году танцевала с Георгием Седовым, чье судно «Святой Фока» вышло в августе того года из Архангельска к Северному полюсу – откуда мужественный путешественник не вернулся.

Ни на какую романтическую историю намекать не будем – Ксения уже год как была замужем.

«Кто нас там ждет?»

С начала 1919 года в городе была фактически установлена новая власть: генерал-губернатором Северной области стал генерал-лейтенант Евгений Карлович Миллер. В июне того же года он был назначен главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооруженными силами на Северном фронте.

Миллер спешно пытался пополнить и реорганизовать армию, но и ему мало что удавалось.

Когда спустя девять лет Леонов будет работать над повестью «Белая ночь», он нисколько не погрешит против истины, описывая разложение воинства Севера. Любопытно, что никто впоследствии не задался вопросом, откуда Леонов столь хорошо знал быт белого офицерства. Видимо, предполагалось и интуитивное, и на основании документов проникновение писателя в материал. Но всё объяснялось куда проще: произведенный в прапорщики Леонид Леонов наблюдал всё своими глазами.

С каждой неделей белое офицерство все более впадало в состояние будто бы лихорадки: проводило время в ресторанах и частных притонах, пило, играло в карты, большинство избегало отправки на фронт, и Леонид Леонов тут не был исключением. Возможно, сыграла свою роль некоторая близость к структурам власти его отца, не только редактора крупной Архангельской газеты, но и главы Общества помощи воинам Северного фронта.

Генерал-губернатор Миллер один за другим выпускал приказы о необходимости «блюсти честь погон и бережно охранять их от малейшего пятна», в связи с тем, что «случаи злоупотребления спиртным военными и появления их в нетрезвом виде на улице и в иных публичных местах» стали постоянными.

Еженедельно по несколько офицеров разжаловали в рядовые, но атмосфера в армии оставалась никуда не годной. Удручали все чаще распространявшиеся слухи о скором уходе «союзников». Становилось очевидным, что большинство населения в своих симпатиях вновь склоняется на сторону большевиков.

«Самой природе, видно, отныне вменялась в обязанность грусть, – так описывал позже Леонид Леонов некий захваченный «союзниками» город Няндорск в повести «Белая ночь». – Зелень полиняла, светило затмилось, а ветер поволок с севера караваны облаков. В опустелых улицах стало тревожно и пыльно, собаки сидели на цепях, а дети точно вымерли».

Проанализировав состояние Белой армии, характеризовавшееся не только пьянством и разгулом, но и неустанным массовым дезертирством солдат и офицеров фронтовых частей, «союзники» принимают решение оставить Север и 18 сентября 1919 года начинают отводить свои отряды с передовых позиций.

Леонов в эти дни находится в Архангельске и даже посещает выставку литературно-художественного кружка «Парнас», о чем 14 сентября, после долгого перерыва в журналистской деятельности, публикует рецензию в эсеровской газете «Возрождение Севера», уже позволявшей себе, между прочим, жесткую критику Белой армии.

В течение всего недели «союзники» собрались и загрузились.

Накануне отплытия на глазах у жителей города «союзниками» были затоплены оставшиеся аэропланы, автомобили, обмундирование и даже консервы – «чтоб не досталось большевикам». Кто после такого жеста мог поверить в жизнеспособность остающейся русской армии! Исход Белого дела на Севере был предreshен.

Британцы предложили место на пароходе и Максиму Леоновичу Леонову: он до последнего относился к «союзникам» более чем лояльно.

Предлагали, впрочем, уехать не только Леонову-старшему: весь город был увешан красочными объявлениями о возможности покинуть Россию. Кто-то действительно уезжал, но далеко не все.

Пароходы уходили с большим количеством пустых мест, вспоминали свидетели тех событий, так как воспользоваться советом эвакуироваться могли только или люди со средствами, могущие рассчитывать устроиться за границей, или те, кто имел интересы на Юге и в новообразовавшихся окраинных государствах; средний же обыватель, связанный с Архангельском своей служебной или частной деятельностью, хотя и трепетал за свою судьбу, мог только с завистью смотреть на отъезд счастливицков.

27 сентября 1919 года корабли «союзников» ушли с рейда Архангельска. Всего в период с лета по осень 1919 года Архангельск покинули 39 285 иностранных солдат и 3047 офицеров. В это же время за границу уехали 6535 жителей Севера.

Тогда состоялся разговор Максима Леоновича с сыном.

Леонид Леонов много лет спустя пересказывал своей дочери Наталии смысл той печальной беседы.

– Как жить? Что делать? – спросил отец. – Поедем, сын?

– Кто нас там ждет? – ответил Леонид. – Никто! А нищенствовать можно и здесь...

Мы позволим себе несколько усомниться в этой истории: осенью Леонов не мог уехать – он был кадровым военным.

Руководство Северной армией еще надеялось на чудесное изменение ситуации, например, на соединение с частями Колчака.

В Архангельске вновь было объявлено военное положение. На перекрестках города были установлены пулеметы, расчетам было приказано в случае выступления рабочих стрелять.

В городе теперь уже новая власть начала экспроприировать имущество провинившихся или неблагонадежных лиц.

В преддверии готовящегося по всему фронту наступления проводится новый срочный призыв и реорганизация частей.

Приказом № 462 от 27 декабря 1919 года прапорщик Леонид Леонов переведен в Четвертый Северный полк.

Вскоре он в рядах только что сформированного пополнения отправляется в распоряжение полка.

Исход

Леонов никогда позже не проявлял признаков некой душевной экзальтации, и у нас нет оснований предполагать, что в те дни он, видя все происходящее, мог верить в победу Белой армии.

Изголодавший, растерянный Север, каждый десятый житель которого за полтора года оккупации был пропущен «союзниками» и новой властью через концентрационные лагеря, находился словно в полубреду.

Антибольшевистская пропаганда выглядела топорно и грубо.

«Взгляните на Россию в данный момент. Власть находится в руках небольшой кучки людей, по большей части евреев, которые довели страну до полного хаоса», – такие листовки распространялись среди белогвардейцев.

В Красную гвардию забрасывалось почти то же самое:

«Солдаты Бронштейна-Троцкого! Как кончить войну? Да очень просто: если каждые 333 человека некоммуниста пристукнут хоть одного из этой шайки убийц и преступников, то некому будет и братскую кровь проливать!»

Не располагала к новой власти и правозсеровская ориентация Леоновых. Развелись надежды леоновского круга на объединение всех разумных и деятельных сил новой России: на смену большевистской диктатуре пришла диктатура антибольшевистская.

Но деваться некуда: британский полушубок, на шапке Андреевский крест, сделанный из жести, между плечом и локтем углом вверх черная тесьма шириной 1/4 вершка, обозначающая прапорщика, шашка на боку, – вот вам Леонов в январе 1920 года.

Четвертый Северный полк располагался на Северо-Двинском направлении в районе реки Шипилиха.

Ни о каком наступлении белогвардейских частей, конечно же, и речи не шло. Связь между соседними полками была не отлажена, а настроения царили такие, что вообще было не ясно, чем держится фронт.

Как приговоренная к неведомому, Белая армия Севера дожидалась своей участи.

Четвертому Северному полку, в составе которого находился Леонид Леонов, ждать долго не пришлось: 5 февраля началась массированная бомбардировка их месторасположения. Как гласят документы, полк отступил к деревне Звоз, а затем еще на две версты к северу. В ходе отступления всякое управление полком было стремительно потеряно.

Подетально историю разгрома полка выяснить уже не удастся. В Российском государственном военном архиве сохранилась документация по всем 14 стрелковым полкам Северной армии, кроме одного – Четвертого! И есть основания предполагать, что эта случившаяся еще в советские времена потеря не случайна.

Солдат и офицеров разбитых белогвардейских частей, Четвертого полка и соседних с ним подразделений, видели в деревне Емецкое, где располагался штаб командующего войсками Двинского района. Местные жители вспоминали, что в стане белых был полный переполох: зима – на пароходе не уедешь, только на лошадях или пешком, а красные неподалеку, наступают, они уже близко. Кто-то находил себе подводы, кто-то скрывался чуть ли не бегом.

К середине февраля весь Северный фронт был разорван и смят.

Когда до Архангельска Красной армии оставалось еще более ста километров пути, никакого фронта уже не было: в бывших белогвардейских частях шло братание с красными, повсюду бродили тысячи дезертиров – армия попросту развалилась сама по себе.

19 февраля в Архангельске началась погрузка белогвардейских частей – на ледокол «Минин» и военную яхту «Ярославна». В очереди стояли штабные, судебные ведомства, лаза-

реты, офицеры, солдаты, их несчастные семьи. Генерал Миллер чуть ли не в те же дни хотел еще съездить на фронт, его еле отговорили, потому что ехать было воистину некуда. Миллер официально передал власть в городе рабочему исполкому.

Погрузка шла всю ночь 19-го. Несли раненых, офицеры озирались: по городу и чуть ли не по пристани бродили толпы рабочих и матросов с красными флагами, тут и там возникали митинги.

«...Но вот отдан приказ об отплытии, – вспоминает один из мемуаристов. – А к пристани всё шли и шли одиночные офицеры и чиновники, забытые штабом. Особенно много было среди этих позабытых офицеров фронтовиков, только что, ночью, прибывших с Двинского фронта. Они стоят на пристани, кричат, машут папахами и платками, но бесполезно. “Минин” уже на середине Двины...»

21 февраля части Красной армии вступили в Архангельск. Леонид Леонов уже был в городе.

Еще чуть-чуть, и судьба одного из самых главных советских писателей повернула бы в противоположную сторону, хотя «прапорщик Четвертого Стрелкового полка Белой армии Севера Леонид Леонов» по-прежнему звучит столь же дико, как, к примеру, «комиссар Н-ского полка Дмитрий Мережковский».

Ныне Леонида Леонова и представить невозможно в эмиграции, издающегося, скажем, в парижских «Современных записках» наряду с его ровесником Владимиром Набоковым. Но отделял Леонова от такого варианта судьбы один малый шаг: нужно было всего лишь ступить на трап.

Глава третья

Фронт. Красноармейские газеты. Возвращение в Москву

«Едет-едет из Архангельска, едет смелый коммунар...»

Через три дня после взятия города, 23 февраля 1920 года, Леоновы, согласно приказу Временного Комитета, явились на регистрацию бывших белых офицеров и военных чиновников. Девятнадцатилетнего Леонида отпустили, а Максим Леонов в тот же день был арестован комиссией при ВЧК под руководством некоего Кедрова. С вполне обоснованной формулировкой: «за контрреволюционную деятельность».

Однако новая власть на первых порах показалась куда более мягкой, чем предшествовавшая.

Когда Максима Леоновича забирали, Леонид попросил чекистов взять и его, чтобы не оставлять отца одного.

«Пожалуйста, пожалуйста!» – ответили Леониду благодушные чекисты.

Впрочем, в тот же вечер его отправили домой: чего место в камере занимать.

После того как рабочие типографии, где печатался «Северный день», пришли и устроили возле ЧК митинг не митинг, пикет не пикет, а скорее спонтанное волеизъявление на тему «Освободите нашего дорогого Максима Леоновича, он очень добрый и отзывчивый человек!», Леонова-старшего выпустили.

Газету тем не менее закрыли, и, помыкавшись месяц, отец и сын Леоновы с горем пополам стали выискивать новые возможности для выживания.

В то время в Архангельске как раз открылось губернское отделение РОСТА.

Руководил им, само собою, настоящий большевик Иван Боговой, а помогал ему журналист и литератор Александр Зуев, двадцати четырех лет. Человек любопытной биографии: бывший прапорщик царской армии, в 1917 году на Западном фронте он был избран председателем полкового революционного комитета. В 1918-м вернулся в Архангельск и здесь стал секретарем «Известий Архангельского Совдепа». «Союзники» Зуева задержали как явно неблагонадежного и отправили на «остров смерти» Мудьюг в Белом море.

Чудом спасшись от гибели на острове, Зуев вернулся с Мудьюга в Архангельск. В феврале его назначили агитатором при Бюро печати, а как только появилось Архангельское отделение РОСТА, Зуев стал его секретарем.

С Леоновым Зуев познакомился уже после разгрома Северной армии, в начале весны 1920-го, на квартире у Бориса Шергина. Там происходило что-то вроде леоновского вечера: он уже тогда читал свои рассказы мастерски, вдохновенно, с замечательным чутьем к слову, тем и очаровал Зуева.

Не пытавшийся скрыться от большевиков и даже проводивший свои литературные вечера, Леонид был уверен в доброжелательности новой власти.

Подобное ощущение в городе испытывали многие, потому что наказывать пришлось бы каждого третьего. Тысячи людей с восторгом встречали «союзников», сотни работали при фактической оккупации во всевозможных учреждениях, так или иначе сотрудничая с режимом. Добрая дюжина газет, лояльно относившаяся к власти, выходила все это время. Чуть ли не весь фронт дезертировал и вернулся по домам. В Артиллерийской и Пулеметной школах, как мы помним, прошли обучение более тысячи человек – юнкер Леонов значился в приказе за номе-

ром 636. Никто не устроил резню в первые же дни после прихода Красной армии – и посему многие успокоились.

Наглядным подтверждением этого факта служат результаты первой советской переписи лета 1920 года, под которую попали и Леоновы.

В числе вопросов, на которые пришлось отвечать Леониду, был такой: «Участвовал ли как военнослужащий в войнах: а) 1914–1917 гг.» – здесь он вписал от руки: «Нет». «Участвовал ли как военнослужащий в войнах: а) 1918–1920 гг.» – тут он честно пишет: «Офицер».

Секретарь отделения РОСТА Зуев предложил бывшему офицеру Леониду Леонову работать вместе с ним. Такие вот перепады в судьбе будущего писателя...

По утверждению Зуева, Леонид принял его предложение «без колебаний».

Так он стал секретарем печатной стенной газеты архангельского отделения РОСТА «Красная весть». Газета выходила тиражом то в 500, то в 200 экземпляров, зато на нее поначалу шла отличная норвежская бумага, предназначавшаяся для печатания денег белого правительства. Когда хорошая бумага подошла к концу, в ход пошли обрывки, обрезки, канцелярские бланки.

Редакция из десяти человек размещалась в магазине суконщика Ведякина на Троицком проспекте. Важный факт: здесь же был читальный зал РОСТА, и заведовал им бывший священник Щипунов, отрেকшийся публично, на страницах «Известий» Архгубисполкома, от православной веры. Не он ли послужил прообразом дьякона Аблаева в леоновской «Пирамиде»?

Выходила «Красная весть» ежедневно и, вполне возможно, под влиянием Леонида Леонова стала сильно напоминать «Северный день», разве что без театрального отдела. В «Красной вести» тоже публиковались в первую очередь телеграммы из Москвы, потом архангельские новости – и все было обильно приправлено разнообразной стихотворной кустарщиной.

В «Красной вести» Леонид набил руку в написании всевозможных агиток, частушек, лозунгов и прочих идеологических погрешностей.

В те дни он признался Зуеву, что после оккупации его отношение к большевикам изменилось: приход Красной армии воспринялся им скорее как освобождение от власти чуждой. Обманывал Зуева, нет? Кажется, немного лукавил.

Тогда началась очередная мобилизация, теперь уже в Красную армию, на Западный и Южный фронты, и Леонов как-то сказал Зуеву, что, наверное, пойдет воевать. Что здесь перевешивало: нежелание белогвардейского прапорщика оставаться в городе, где слишком многие знали о делах Леонида и его отца, или действительное стремление послужить Красной армии? Думаем, первое.

С 1 апреля по 31 мая проработал Леонов в «Красной вести». Может, остался бы там еще, но 7 апреля отца, Максима Леоновича, опять забрали. Если по Леониду Леонову нужно еще было собирать материалы (архивы Северной армии были сожжены незадолго до бегства генерал-лейтенанта Миллера со товарищи), то редакторская, журналистская и общественная деятельность его отца была слишком очевидна: подшивки наглядно антисоветского «Северного дня» мог прочесть любой.

Максим Леонов был осужден и приговорен к принудительным работам сроком на год. Посидел при старой власти, теперь попал под твердую руку новой.

В те дни ситуация в городе стала меняться: начались повальные аресты «бывших». По ночам на окраине города был слышен пулемет. Две-три очереди, тишина. Две-три очереди, тишина. Жители Архангельска скоро узнали, что это – расстрелы.

Любопытно, что многих людей из леоновского круга так и не тронули. Будто ни при чем остался Писахов, передававший вырученные от продажи картин деньги в помощь белым офицерам и лично изготавливавший флаги для частей Северной армии. Более того, вскоре у него начали проходить выставки картин.

А вот Горемыке, да, не везло.

Не повезло и матери леоновской знакомой Ксении Гемп – Надежде Михайловне Двойниковой. Она занималась примерно той же самой деятельностью, что и Максим Леонович: в частности, работала в «Архангельском патриотическом женском союзе», помогавшем раненым белогвардейцам. Сначала ее приговорили к расстрелу, затем приговор был изменен на десять лет принудительных работ.

Леониду без отца стало совсем худо: средств к проживанию не было почти никаких, хоть как-то выживали благодаря помощи брата Марии Матвеевны Чернышевой, архангельского ювелира. Стенная газета РОСТА едва кормила, да и, скорее всего, нервно было там работать, когда отец в тюрьме.

Заступничество рабочих Горемыке уже не помогало, хлопотать начали другие люди, но пока безрезультатно.

И еще эта стрельба ночами...

Леонов отправился то ли в губком, то ли в ревком и прямо спросил у кого-то из местного начальства: «Отца задержали, меня нет. Раз я на свободе – не дайте умереть с голода. Хочу работать».

А какая могла быть работа в Советской республике? Красная армия – вот самая главная работа.

«Ты у нас в Артиллерийской школе учился? – спросили у Леонова. – Нам артиллеристы нужны. Иди-ка ты повоюй».

Леонид оформляется как доброволец.

13 июня «Известия» Архангельского губернского ревкома и губкома отчитались об отправке на фронт второй партии коммунистов и добровольцев – отчет был в стихах: «Едет-едет из Архангельска,/ Едет смелый коммунар,/ И панам и гадам врангельским/ Нанести лихой удар».

Леонова определяют в артиллерийский дивизион.

Дорога лежала на Южный фронт.

Уже вдали от Архангельска нагнала Леонова добрая весть: отца освободили, полный срок ему отбывать не пришлось. За Максима Леоновича заступился Даниил Крептюков, тоже «народный» поэт, с которыми Леонов-старший столько возился. К счастью, Крептюков не только вирши слагал, но был еще и партийным секретарем в уезде.

Для острастки Максима Леоновича лишили избирательных прав (и вернули их только в июне 1928 года, за год до смерти).

Буйный, горячий, осатанелый ветер

Попал Леонов в Пятнадцатую Инзенскую стрелковую дивизию, стоявшую в районе Гуляй-поля, на родине батьки Махно.

Артиллеристов вооружили рапирами – немецкими шпагами.

В довершение к этому Леонова обрядили в матросскую рубаху с отложным воротником и дали высокие, как у д'Артаньяна, сапоги. Иные обуты были и в лапти, и даже в разномастные женские ботинки (Леонов запомнил эти казусы, потом использовал в «Барсуках») – на общем фоне его д'артаньяновские сапоги смотрелись вполне себе ничего.

Красноармейцы выглядели что твои махновцы.

А махновцы как раз были неподалеку.

Нестор Махно тогда привычно находился в бурных взаимоотношениях с советской властью.

Еще в январе 19-го он заключил с Советами договор: его повстанческие полки вошли в Красную армию. Спустя месяц он даже заявил о том, что завязал с анархизмом и все силы отныне отдаст делу укрепления на Украине советской власти. Нестора Ивановича назначили командиром третьей Заднепровской бригады одноименной стрелковой дивизии. Махновцы героически штурмовали Мариуполь, сам Махно получил орден Красного Знамени – в числе первых героических военачальников Красной армии.

К апрелю 1919-го Махно и Советы вновь охладели друг к другу: батьку не устраивали ни продразверстка, ни комбеды. Махно написал открытое письмо Ленину (с которым, к слову, встречался еще в 1918 году) и ушел на Херсонщину.

Некоторое время он воевал и против белых, и против красных, за что последние в январе 1920 года объявили его вне закона.

Дисциплина в Пятнадцатой Инзенской дивизии была не на самом высоком уровне: красноармейцы то переходили к махновцам, то возвращались обратно в Красную армию.

Влияние Махно на красноармейские умы было очень велико: к осени он восстановил свою Повстанческую армию, и бывшие красноармейцы составляли в ней не менее трети, а то и половину личного состава.

Красной армии нужна была качественная пропаганда.

Как раз в середине августа, в те дни, когда Леонов только-только прибыл, дивизии отдали приказ «в кратчайший срок привести себя в порядок, залечить раны последней операции и уничтожить недочеты и недостатки».

Леонид быстро завязал дружбу с политработниками дивизии. Образованный парень, да еще с отменным журналистским, корректорским, редакторским опытом, глянулся им, и в августе его перевели в редакцию дивизионной газеты «На боевом посту» (10 октября ей дали имя попроще: «Бюллетень» политотдела Пятнадцатой дивизии).

Так и осталось неизвестным, успел ли артиллерист Леонов пострелять. Скорее всего, нет. Сам он, по крайней мере, никогда об этом не говорил. Он вообще Гражданскую войну вспоминать не любил.

Политотделу было приказано «приложить весь максимум энергии в политработе в частях, обращая главное внимание на политическую подготовку красноармейского состава», а также «...обратить внимание на снабжение частей литературой и газетами».

В те дни познакомился Леонов с легендарной революционеркой, начальницей политотдела дивизии Александрой Янышевой, членом партии с 1910 года, подругой Коллонтай и Дыбенко, женой генерала Янышева, создавшего эту дивизию; с Александрой писатель еще увидится спустя полвека.

Эта безупречного мужества и, кстати, красивая женщина, водившая красноармейцев в атаку, запомнила Лёну таким:

«Тоненький, стройный, толковый и расторопный, но очень скромный паренек Леонов всем нам в политотделе пришелся по душе. Быстрый и неутомимый, он всюду успевал».

В первую очередь Леонов успевал на позиции. Поначалу и политотдел, и редакция газеты размещались при административном штабе. Но потом был создан специальный полевой политотдел, чтоб его работники были ближе к народу. Там, среди красноармейцев, Леонов и очутился.

В начале сентября Инзенская дивизия заняла позицию на первой укрепленной линии Каховского плацдарма, по обе стороны большой дороги Каховка–Перекоп. Вскоре позиции были атакованы и смяты танковым ударом белых – в те времена бронированных уродцев красноармейцы называли «таньки»: «Таньки, таньки идут!»

В том же сентябре Москва снова озаботилась тем, как быть с Махно. Правитель Юга России и Главнокомандующий Русской армией Врангель еще был в силе, а уничтожить воинство Нестора Ивановича не получалось никак, и Ленин предложил пойти с ним на переговоры; так и сделали. 2 октября был заключен договор, согласно которому Повстанческая армия вошла в состав РККА в качестве самостоятельного «партизанского» соединения с подчинением высшему командованию Красной армии.

В определенный момент, вспоминал Леонов, в одной комнате делали газету «На боевом посту», а в соседнем помещении верстали свое издание махновские пропагандисты. Они, естественно, были знакомы, общались. Но Леонов об этом впоследствии никогда подробно не распространялся.

Зато предводитель повстанцев-«барсуков» – Миша Жибанда в романе «Барсуки» – унаследовал некоторые черты Махно. Вспомним хотя бы парафраз знаменитых махновских чудачеств – в том эпизоде, когда бандит Жибанда появляется у дома, где идет совещание исполкома, и, подойдя к раскрытому окошку, просит уполномоченного Половинкина дать прикурить:

«– Всё заседаете? – сочувственно усмехнулся он. – Ну, заседайте! – Потом свистнул, лихо козырнул, и сразу его не стало.

Половинкин собрался было продолжить свои рассуждения о необходимости обыска, но поперхнулся словом, пугаясь оцепенелого вида остальных; Чмелёв переглядывался с Лызловым, Муруков никак не мог вытащить ручку из чернильного пузырька, точно держал ее пузырек зубами. Прочие имели вид такой, словно собирались вспорхнуть и улететь».

Махно был фигурантом нескольких историй подобного толка, и еще больше легенд вилось вокруг его имени, о чем Леонов, еще в бытность красноармейцем, был наслышан.

Надо сказать, что и Жибанда в свое время воевал за красных и первую пулю свою получил от колчаковцев.

Осталось лишь добавить, что отрицательным героем леоновского Жибанду назвать крайне сложно.

Красноармейскую газету до Леонова редактировал некто Вл. Ципоркис, но молодой и хваткий Лёня глянулся начальству куда больше, и вскоре его назначили редактором. Согласно документам, это случилось 5 октября 1920 года, когда наступление белогвардейцев выбило красных с их позиций; по версии самого Леонова (скорее всего ошибочной), чуть позже, накануне легендарного штурма Перекопа.

«На восемь человек печатников и ездовых в моей крохотной походной типографии приходилось две тачанки, три шинели да кожаная куртка одна; остальные шли пешком, кутаясь во что придется или даже накрывшись одеялом...» – так Леонов описывал быт тех времен.

«Печатники мои были настоящими революционерами, и их работа была им очень дорога, – в другой раз рассказывал Леонов. – Нашу типографскую машину “американку” мы берегли как зеницу ока».

«Бывший до Леонова редактором газеты Ципоркис и в частях не бывал, – говорила потом Янышева. – С приходом Леонова связи с частями укрепились, газета стала живее».

В селе Тягинка, куда в первой половине октября отошла Пятнадцатая Инзенская дивизия, Леонов стал свидетелем срочного прибытия Первой конной армии Буденного.

«В воздухе взметалась пыль, летели тачанки с пулеметчиками, мчались кони, гудела земля. У меня осталось впечатление буйного горячего ветра», – так говорил об этом Леонов годы спустя.

Писал в газету Леонов один: рассказы о боях, стихи, лозунги – все было его работой, разве что врач из санотдела публиковал иногда медицинские заметки на тему «Как уберечься от переносчиков сыпного тифа» и т.п.

Во второй половине октября, когда врангелевское наступление захлебнулось и началось контрнаступление Южного фронта красных, Леонов вместе с дивизией двинулся на двух своих тачанках из Тягинки в Борислав, а оттуда путь лежал на Каховку.

Десятилетия спустя, по просьбе тех или иных собеседников, Леонов вспоминал всего несколько случаев из Гражданской войны, никогда, впрочем, не связанных с убийством или насилием.

«Какие бывали встречи! В небольшом городке делаю армейскую газету, – пересказывали речи Леонова мемуаристы. – Тут и редакционный стол, “верстаки” и прочее. Однажды вечером сижу, пишу фельетон. Вдруг входят буденновцы. И знаете, головы их где-то за притолокой, ну совсем как у Гоголя. Из “Вия”. Впереди – богатырь с усами и в папаше – Шевченко. “Кто, – говорят, – тут начальство? Ага – ты? Мы у тэбэ ночевати будэмо”. Вошли, поскидали бурки, оружие сняли, и в хате сразу повернуться негде стало.

“Только прошу ничего не воровать, – говорю. – Знаете, казенное имущество”.

Смеются, но обещают. “Старшой” долго беседовал со мной перед сном. Никогда не забуду неповторимость, мощь и силу и лаконизм его насмешливой речи. “Ворвались мы в город N. Пилсудчиков порубали. Водки выпили и вперед! Сейчас идем на Врангеля!”».

Или иную картинку Леонов не раз вспоминал, будто камертон, по которому настраиваются события тех лет: «Ночь, горит костер, и какие-то люди в бурках осатанело пляшут, а на них алые отблески огня».

Все эти воспоминания, между прочим, шли в печать, хотя хитрый Леонов наверняка с заваккой прицеплял к своей зарисовке словцо «осатанело»...

Ну, а про иные жуткие моменты он не говорил десятилетиями.

Хотя было что вспомнить.

Архангельские чекисты, разобравшиеся в документации, сохранившейся после ухода белых, нашли конкретные данные и по Леонову, и по нескольким иным бывшим офицерам, мобилизованным в Красную армию.

Еще до штурма Перекопа в Инзенскую дивизию пришла соответствующая депеша. На леоновское счастье, проходила она, естественно, через политотдел, к которому он был причислен.

Инструктором политотдела служила, как ни странно, бывшая княжна Софья Александровна Аргутинская-Долгорукая, вступившая в коммунистическую партию и пришедшая к большевикам. Она сверяла списки бывших офицеров, по которым нужно было провести расследование, направив их в дивизионный трибунал, и обнаружила там фамилию редактора «Бюллетеня».

Наверное, они были дружны – Софья Александровна и Лёня; ничем иным ее жест объяснить нельзя: она просто вычеркнула его фамилию, и все. Чем сберегла ему жизнь.

Остальных, попавших в список, немедленно арестовали и увезли. Больше Леонов их не видел.

Тогда Леонов во всей полноте осознал ужас раз и навсегда приговоренного к смерти: он начал понимать, что это клеймо будет на нем всю жизнь. И еще неизвестно, долгой ли она окажется...

«Ух, стра-а-ашно!»

«Генералов песня спета,/ Бьем барона прямо в лоб,/ Знамя Красное Советов/ Понесем за Перекоп...» – такую передовицу сочинил Леонов накануне легендарного прорыва в Крым. Она, правда, так и не появилась в газете.

Инзенцы, в том числе и Леонов со своей боевой типографией, стояли в селе Строгановка возле Сиваша.

Главный удар Красной армии был намечен в тыл белогвардейцам: неожиданной атакой через ледяной Сиваш при отвлекающем прямом ударе на Перекоп. Прорыв был произведен силами именно Пятнадцатой Инзенской дивизии: леоновские однополчане, в числе которых была и упомянутая Александра Янышева, пошли ночью сквозь черные сивашские воды.

Но надо сказать, что не только они участвовали в том прорыве. В центре подразделений, совершивших одну из самых известных операций Красной армии, шла... ударная группа махновцев. Инзенская дивизия располагалась с одного фланга, Особая кавалерийская бригада Первой Конной – с другого. А позади махновцев, для надежности, разместили латышских стрелков. Мало ли что...

Первая попытка пройти через Сиваш была предпринята 4 ноября. Махновцы и Сто тридцать пятый полк Пятнадцатой Инзенской ушли в ночь по высокой воде. Но из-за прилива в Сиваше насквозь промерзшие, заледеневшие бойцы вернулись назад.

5 ноября в Строгановку прибыла делегация: Сергей Каменев и Михаил Фрунзе, Буденный и Ворошилов; совещались. Леонов, работавший в полиотделе, мог их видеть...

Спустя десять лет он не раз будет сидеть с Ворошиловым за одним столом.

7 ноября 1920 года до личного состава Пятнадцатой стрелковой Инзенской дивизии был доведен приказ, подписанный начдивом Раудмецом, военным комиссаром Бутковым и начальником штаба Ярчевским:

«Частям Южного фронта и нашей дивизии в частности к началу четвертого года существования Республики Советов предстоит завершить победу над русской контрреволюцией, взять Крымский полуостров и навсегда покончить с врагами рабочих и крестьян.

Командирам, комиссарам и бойцам, учитывая всю важность момента и что борьба нашей республики решится за твердынями Крыма, напрячь все силы и всю волю к разрешению возложенных задач. Быть стойкими: помнить, что никакие жертвы не могут остановить бойцов Красной Армии в уничтожении ее врагов...»

Приказ размножили через редактируемую Леоновым газету.

Следующую попытку штурма предприняли 8 ноября.

Первыми шли части Пятнадцатой Инзенской и Пятьдесят второй дивизий – на этот раз они пересекли Сиваш и ошарашили ничего не ожидавших белых. 9 ноября их усилили подошедшие следом махновские части.

«Лавой хлынули через Сиваш, – так рассказывал Леонид Леонов о событиях тех лет в дни очередного советского юбилея. – Разве ее остановишь, раскаленную человеческую лаву! Таких сил нет в природе. <...> Это был ветер. Ураган. Пестрая лента. Стальная пружина крутилась, разворачивалась с гиком, в храпе коней и топоте копыт... Прокатилась мимо Джанкоя и... Ух, стра-а-ашно, ух, стра-а-ашно!»

Действительность, конечно же, была чуть сложнее: стальную пружину едва не скрутили обратно в первые же дни.

С 9 ноября Инзенская дивизия и кавалерия Махно штурмовали глубоко эшелонированные Юшуньские позиции – последнюю преграду на пути в Крым. Но 11 ноября белогвардейские части стремительно прорвали фронт Инзенской дивизии и стали заходить в тыл штурмовавшим Юшуньские позиции Пятьдесят первой и Латышской дивизиям.

Появление белых частей в тылу предвещало почти неминуемое поражение, стихийное бегство через Сиваш и катастрофу всей военной операции.

На ликвидацию прорыва были брошены части Второй Конной армии под командованием Филиппа Миронова и, как уже можно догадаться, вновь Крымская группа махновцев. В жутком бою белогвардейский кавалерийский корпус был фактически уничтожен.

После штурма Сиваша полурастерзанная Инзенская дивизия с боями вошла в Джанкой. Леонов был в составе передовых частей и стал свидетелем погони за оторвавшимся от своих белогвардейцем на улицах города.

Именно из Джанкоя 16 ноября 1920 года Фрунзе отправил Ленину телеграмму: «Сегодня наша конница заняла Керчь. Южный фронт ликвидирован».

Инзенскую дивизию перебросили на Симферополь, а затем отвели в селение Алешки – чтобы обновить, подлечить и отправить на Польский фронт.

Что касается воинства Махно, то в конце ноября Красная армия вероломно и последовательно начала уничтожать подразделения своих бывших союзников, и Инзенская дивизия, где служил Леонов, еще успела приложить к этому руку. Леонова перевели в другое место в конце января – и как раз с января инзенцы начали гонять по Одесской и Херсонской губерниям тех, с кем недавно шли через Сиваш.

Когда Леонов говорил, что мировоззрение его сложилось в Гражданскую войну, он, видимо, нисколько не кривил против истины. Тогда уже словно врожденное разочарование его в человечестве получило жуткие и кровавые подтверждения.

«И когда умирал какой-нибудь, елозя пробитым животом по несжатому полю, копошилось в нем безответное рыдание и делалась суета души», – напишет Леонов спустя два года в повести «Петушихинский пролом» об убитом в бою. И слово «человек» даже не произнесет, заменив на безличное «какой-нибудь». И рыдание умирающего – безответное, как в самых первых стихах.

...Разрозненные и растерзанные махновские части с боями уходили на Украину, чтоб рассеяться там и навек пропасть...

Миновало

«Бледный юноша в потертой шинели» – таким запомнил молодого Леонова один из его сослуживцев, неожиданно написавший уже всемирно известному писателю тридцать лет спустя.

Он действительно выглядел очень молодо тогда, почти юно.

В минуты межгазетной работы Леонов пишет и «для себя»: в эти дни делает он первый вариант рассказа «Бурыга», который потом открывал многие его собрания сочинений. В бесконечных переездах рассказ потерялся; спустя два года Леонов восстановит его по памяти.

На привалах и в пору недолгого отдыха молодой газетчик и политработник понемногу приобщает красноармейцев к искусству. В числе прочего участвует в постановках самодеятельных спектаклей – скажем, «Женитьбы» по Гоголю. Любопытно, что тем же самым занимался и Михаил Шолохов примерно в то же самое время. Можно добавить, что Инзенская дивизия проходила через станицу Вёшенскую, правда, Леонов тогда еще был в Архангельске. А сложись иначе, могли бы два главных советских писателя перекрестить свои дорожки еще в юности, коснуться друг друга плечами и пройти мимо, не узнав... Добавим, что в Инзенской дивизии служил и человек, ставший прообразом Григория Мелехова, – Харлампий Ермаков, но тоже до приезда артиллериста Леонова.

Красноармейцы Леонова любили: когда-то он уже успел научиться играть и на гитаре, и на мандолине – то ли еще в Москве, то ли уже в Архангельске; в любом случае умения эти пригодились, тем более что пел он отлично, и даже, напомним, выступал в составе сводного гимназического хора.

«Вижу, как сейчас, Леонида Леонова в армейском клубе в кругу бойцов и девчат – молодого, красивого, с озорной, непокорной, сбитой на бок челкой светлых волос, с гитарой или мандолиной в руках, поющего задорную, веселую песню, – вспоминала упомянутый выше инструктор политотдела Софья Аргутинская-Долгорукая. – Он и сам был очень остроумен, писал сатирические стихи, которые в полках нередко заучивали наизусть. Меня (очевидно, как старшую по возрасту и недавнюю студентку Политехнического института) Леонид Леонов приглашал, в числе других немногих, к себе домой. Он, как и все мы, стоял на квартире у кого-нибудь из крестьян. Помню, читал он свои рассказы или что-то вроде сказок. Читал великолепно. К тому же любил и умел “подать текст”: специально занавешивал окна, убавлял огонек и без того еле мигавшей лампадки, словом, создавал настроение...»

Да и авторитет его в политотделе становился все более высоким. Сохранился любопытный документ от 15 декабря 1920 года, выданный политотделом дивизии и заверенный подписью «начподива 15» Александры Янышевой.

«Сим удостоверяется, что тов. Леонов Леонид действительно состоит на службе при Политотделе 15-й стрелковой Инзенской ордена Красной Армии дивизии редактором “Бюллетеня” дивизии и по занимаемой должности имеет право пользоваться бесплатно телеграфом, телефоном и подводами от советов и комендантов при передвижении по служебным делам в районе расположения дивизии, а на основании приказа Народного Комиссариата по военным делам от 29 июля 1918 года за № 698 имеет право носить и хранить огнестрельное оружие».

Согласно документам, 24 января 1921 года Леонид Леонов – инструктор-организатор политотдела дивизии, уже переименованной из Инзенской в Сивашскую, был исключен из

списков отдела и «провиантного, приварочного довольствия» и вместе со своим хорошим знакомым, начальником агитационно-пропагандистского отдела Александром Угаровым, отбыл в Одессу – в политотдел Пятьдесят первой Перекопской ордена Боевого Красного Знамени стрелковой дивизии.

Спустя две недели после его отъезда типографию и редакцию «Бюллетеня», где отработал Леонов пять месяцев, во время очередного переезда окружила казачья часть. Заместитель начальника политотдела и экспедитор, с которыми Леонид напылил по украинским и крымским дорогам не одну версту, были сразу же убиты как большевистские агитаторы.

...А его, Леонова, судьба увела из-под удара.

Комплект дивизионной газеты, кстати, тогда же и пропал: казаки пустили леоновские агитки на самокрутки. Никогда нам не узнать доподлинно, что он сочинял все это время, чем веселил и бодрил красноармейцев...

Красноармейские газеты

29 января Леонова назначили «сотрудником-литератором» газеты Одесского политотдела «Красный боец», поставили на все виды довольствия, но потом что-то передумали и переправили опытного газетчика на должность заведующего корреспондентским бюро дивизионной газеты «Красноармеец».

В Перекопской дивизии, занимавшейся одновременно и продразверсткой, и посевной, и охотой на местных «самостийных» бандитов, ухарей и гулёбщиков вроде Кошевого, Заболотного и Хмары, Леонов пробыл полтора месяца. Статьи свои подписывал псевдонимом Максим Лаптев.

Здесь он поднабрался материала для того, чтоб подступиться к тем самым «барсукам», которых опишет всего три года спустя в одноименном романе.

И еще в Одессе его ждет очередная нервная встряска. В эти дни в город прибывают председатель Крымского ревкома Бела Кун и секретарь Крымского обкома РКП(б) Розалия Землячка. Они начнут массовые зачистки «белогвардейского элемента». В течение краткого времени тысячи бывших белых офицеров, воевавших на юге, были задержаны и тут же расстреляны...

Об этом, естественно, в политотделе знали.

Изрубленные белые на крымских дорогах, обочины, заваленные трупами, – всё это Леонову пришлось увидеть своими глазами.

«То была работа Землячки – страшная баба... подходишь – а у человека полголовы нет...» – рассказывал полвека спустя Леонид Леонов своему внуку Николаю.

В одном городе с вершителями «революционной законности» Леонов чувствовал себя крайне нервно: никакой гарантии не было, что из Архангельска не придут теперь уже в Одессу новые списки с его фамилией.

Поседеть можно в таких ожиданиях...

Впрочем, не ручаемся за документальность, но как-то Леонов проговорился, что лично видел Землячку – и, мало того, приглянулся ей. Скрывать своих намерений Розалия не стала. В первый раз Лёня как-то увернулся, а во второй и третий раз при появлении Землячки ему натурально приходилось прятаться.

И не знаем, то ли плакать, то ли смеяться, рассказывая об этом.

К счастью, в марте Леонова снова переводят – в редакцию газеты, также называющейся «Красный боец», но уже в Херсоне.

21 марта Леонов был зачислен библиографом библиотечной секции политуправления Шестой армии «с исполнением обязанностей в лит.-издательск. отд.», как гласят архивные документы.

«Красный боец» выходил ежедневно на двух, а иногда на четырех полосах тиражом от 5 до 8 тысяч.

Дебют Леонова в газете был в стихах – он отреагировал на подписание торгового договора с Англией (тема эта после архангельских событий была ему, надо понимать, близка). Стихотворение было обращено к возобновившимся экономическим отношениям с Россией британцам и называлось «Поумнели»: «Верьте Лаптеву Максиму,/ Не бывает, братцы, дыму/ В нашем мире без огня...»

Следом были опубликованы обращение к врангелевцу («Твой черный герб – двухглавая ворона!/ Но если ты, палач рабочих масс,/ Способен к героизму хоть на час, —/ Коль скорпион жалеет скорпиона,/ Воткни свой штык поглубже в грудь барона,/ Твой штык, который опозорил вас!»), социальные зарисовки («И все как будто тряпкой вытер/ Октябрь из памяти долой./

О где ты, грозный, как Юпитер,/ Властитель дум – городской!») и прочие незатейливые сочинения сомнительной искренности.

Стихи перемежались фельетонами на ту или иную насущную тематику: поводы окружающая жизнь давала беспрестанно.

Война уже сошла на нет, красноармейский театр ставил шиллеровских «Разбойников», гарнизонный клуб объявлял вечер эсперанто; одновременно в городе свирепствовал такой сыпняк, что даже главный армейский доктор, комиссар местной санчасти, заболел и умер.

Дисциплина в частях тоже была не на самом лучшем уровне, о чем и начал писать Леонов на новом месте работы: то о красноармейцах, спекулирующих обмундированием, то о провинившихся коммунистах – последним посвящен памфлет «С камнем на шее (Заупокойная исключенным)».

Вообще сатирические вещи в красноармейской прессе Леонову удавались особенно хорошо: «выявить недостатки», дать кому-нибудь по шапке... Какая-то почти заинтересованность в этом чувствуется, особенно учитывая тот факт, что, едва демобилизовавшись, Леонов очень долго не сможет (вернее, конечно же, не пожелает) создать положительный образ коммуниста.

А вот от тех пассажиров, где Леонов стремится писать высоким штилем, неизменно остается ощущение, что души туда не вложено вовсе:

«В яростном гудящем море – корабль. Кипящие волны подкрадываются к нему и вдруг бешено штурмуют его одетые в сталь борты. Сторожат его в зловещей тишине рифы, спрятавшись под водой. Но не гнется сталь, не спят рулевые, и чем сильнее ветер – тем быстрее ход корабля. Порой кренится он то вправо, то влево, но лишь на мгновение: чтобы сильнее и удобнее прорезать опасную волну. Летит корабль. На мачте флаг. Красным шелком шелестит он вверх, словно шепчет уставшей вахте: “Не спите, не устаньте”.

На флаге три буквы: Р. К. П.».

Право слово, к тому времени Леонов уже умел писать лучше: вспомним хотя бы его очерки о путешествии с Писаховым в Москву и обратно, накануне вторжения «союзников»; однако к 1921 году он вполне обучился бодро имитировать барабанные дроби и краснознаменные воззвания, не считая, по всей видимости, свой труд зазорным; впрочем, и не подписывая памфлетов, речевок и заметок собственной фамилией. Лаптев все это писал.

Уже в старости Леонов вдруг начал говорить, что и Лаптевых-де было в той газете двое, и от авторства своих «краснобойцовых» текстов стал отказываться. Это уловка, конечно, – хотя и не исключая появления редакционных материалов, подписанных псевдонимом Лаптев.

Но, с другой стороны, отчего быть зазорным такому его труду в 1920-м? Убежденным сторонником Белой гвардии после Архангельска Леонов стать не мог: видел все это вблизи и не очаровался; красная идея явно оказалась жизнеспособнее, хотя и ее победа принималась как свершившийся факт, а не как победа личная.

Да и что было, в конце концов, делать мобилизованному красноармейцу? Перебежать на сторону белых и отправиться на пароходе в Стамбул? У него возможность сбежать была еще в Архангельске. Он и тогда не поехал: совершил выбор и теперь следовал ему...

В качестве библиографа Леонов разъезжал по частям, inspecting библиотеки. В конце апреля того же года вышел приказ начальника политуправления армии: «Всю белогвардейскую и антисоветскую литературу, тем или иным путем попавшую или попадающую в части, немедленно из частей изъять и передать в информстатотдел Пуарма». В числе прочего исполнением и этого приказа занимался Леонов, в силу чего имел замечательный доступ к литературе анти-советской: именно в Крыму ее было особенно много, – белогвардейские военные чиновники, офицеры и генералы оставляли здесь, уплывая за море, свои библиотечки и целые библиотеки.

В июне 1921 года Шестая армия бывшего Южного фронта была расформирована. В том же месяце Леонид Леонов наконец-то возвращается в Москву. Его еще не демобилизовали, пока он просто откомандирован.

Столица советская

Когда Леонов покидал Москву, стоял еще иной город, и родня леоновская на последнем дыхании крепилась в зарядьевских проулках.

Теперь столица была совсем другая: краснознаменная, сама себе удивляющаяся... и терявшая близких Леонову людей. Деды умерли, мать уехала к родне в Ярославскую область. Что до отца, то, еще недавно успешный архангельский деятель, теперь он торговал игрушками в крохотном магазинчике, подхватил туберкулез, в столицу возвращаться не собирался и не смел...

Под Москвой Леонова ошарашил вид переселенцев, бредущих с тех концов страны, куда пришел голод. Потом Леонов описывал это в очерке, в очередной красноармейской газете:

«Было небо тусклое, как размазанный свинец, трепались гульливо по ветру два куста да березка за оврагом, тащились неизвестно куда, неизвестно зачем телеги голодающих.

Раз, два... пять... восемь...

Много. По вечерам останавливаются где попало, под угревой случайных березок разводят костры, долго, вяло разжигают отсыревшее в изморози дерево, глядят равнодушно в пляшущие языки огня – жалкие, бездомные. Ходит ветер, треплет кусты, сквозь дырявые зипуны ощупывает худое тело, нагоняет свинцовый кисель на небесные тучи».

Леонов и сам, что твой беженец, толком не знал, куда идти. Ранним утром добрался до Большой Якиманки, 22 – там жил двоюродный брат матери, Алексей Андреевич Петров.

Чтоб семью, на чей приют надеялся, не будить и не раздражать в первую же встречу, Леонов присел на тумбу и так и ждал до восьми утра, пока в доме живая жизнь не даст о себе знать утренними голосами.

Но дождавшись нужного срока и постучавшись, обнаружил на пороге незнакомого человека.

Человек сказал, что Алексея Петрова нет в Москве: уехал и вернется нескоро.

– А вы кто Петрову будете? – спросил новый жилец дядино дома.

– Племянник, – ответил Леонид.

– Ну, проходите, – позвал хозяин растерявшегося молодого человека.

Так Леонову начало везти в Москве на хороших, добрых, гостеприимных людей, хотя времена, казалось бы, к тому вовсе не располагали.

Новый жилец звался Александр Васильевич Васильев, проживал он с женой и дочкой, владел своей слесарной мастерской: чинил примусы, лудил самовары.

Он Леонова накормил и даже оставил ночевать.

Леонид начинает искать работу.

Интересная деталь: 8 июля 1921 года I Коммунистическая агитационная база обратилась к военкому Москвы с просьбой «откомандировать в ее распоряжение тов. Леонова Леонида, так как он является желательным работником для агитбазы». Причем на агитбазе был и паек, и денежное содержание. Военком Леонова нашел, но тот отказался идти на агитбазу.

Если журналистикой, прячась за псевдонимами, он еще мог заниматься, то агитаторская работа, видимо, казалась Леонову совсем поперечной.

Первый месяц своей жизни в Москве он работает помощником у приютившего его Васильева. Благо, у Леонида с юности любая работа в руках ладилась – вот и слесарному мастерству он обучился скоро, хотя ранее никакого понятия о нем не имел.

Жил прямо в мастерской. В гости к нему заезжал Зуев – тот самый, из Архангельска, что сидел на «острове смерти» в Мудьюге и устроил Леонида в архангельское отделение РОСТА. Теперь Зуева перевели в «Правду». Он вспоминал потом, как они в мастерской жарили с Леоновым икру воблы на листе железа – тем и были сыты.

Под матрацем у Леонова лежали, по выражению Зуева, «заветные тетради»: «...сидя на кровати, приспособив на коленях лист фанеры, он писал свои рассказы».

Однажды Леонова едва не замели как «дезертира труда» – пришли в мастерскую посреди ночи, всех подняли, потребовали документы, обязали явиться утром для дачи показаний. Он принес на биржу свои еще архангельские документы, залив давно просроченную дату выдачи чернилами. Подделку не распознали, а вот на отсутствие работы стали сетовать. Тут Леонов и устроил показательную истерику: «Я на фронте газету делал в одиночку! Тогда я нужен был! А сейчас меня в дезертиры решили записать? Да? Может, лучше помочь красноармейцу Леонову?»

Шум возымел последствия: от «дезертира» отстали, оставили его лудить самовары.

Тут наконец-то подвернулась и постоянная работа. Леонов случайно встретил Николая Юрцева, который одно время был совладельцем типографии отца в Архангельске. Юрцев предложил Леонову, пожаловавшемуся на безработную жизнь свою, место в одной газете.

Незадолго до приезда Леонова в столицу, 9 мая 1921 года, в Московском военном округе вышел приказ о выпуске массового красноармейского издания, вещающего на 16 центральных губерний РСФСР.

Туда и попал Леонов. Он и еще двое журналистов составили первую редакцию газеты. Как видно, у молодого красноармейца были все возможности для того, чтобы сделать самую замечательную журналистскую карьеру в Советской России.

Главным редактором газеты, получившей оригинальное название «Красный воин», стал Сергей Лопашов, сын московского рестораника, коммунист, театровед и журналист – в общем, личность самая разносторонняя.

Поначалу в газете не было ни пайка, ни денежного содержания, хотя все это предполагалось. Начали работать за так.

Распорядок дня у Леонова был, мягко говоря, напряженный: с девяти утра до пяти вечера в редакции, с пяти до одиннадцати вечера – в слесарной мастерской, а потом до четырех утра рассказы писал на фанерке.

Зарплату и паёк начали выдавать только к началу сентября, и то через раз, но есть твердое ощущение, что в то лето Леонов был по-настоящему счастлив: он почти уже нашел свою интонацию, свой голос, свою тропку. Большая литература была рядом – вот-вот и начнется. Сдувал чуб с глаз – у него тогда буйные волосы цвели – и выводил в полутьме своим, как Горький потом говорил, микробным почерком волшебные словеса.

А в восемь утра опять на работу.

Две маленьких комнатки редакции располагались на первом этаже углового двухэтажного дома по Хрущевскому переулку, 14/1, возле Дома ученых. В соседней комнате работала, между прочим, редакция газеты «Печать революции», где в числе иных трудился Дмитрий Фурманов, тридцатилетний, красивый, уже приступивший к написанию повести «Красный десант».

Фурманов часто заходил к соседям покурить-поговорить, рассказал как-то между прочим о том, что собирается писать «военно-исторический очерк» про Чапаева.

С журналистской своей работой Леонов расправлялся весело. Те, кто Леонида знал в те дни, отмечали, что улыбка не сходила с лица его, и вообще он имел привычку во всем всегда находить «смешинку».

Леонов, конечно же, под дурашливым видом своим скрывал очень многое; это была удобная маска – компанейство и веселие; даже сохранившаяся манера подписывать статьи то псевдонимом Лаптев, а то и просто Лапоть, тоже о многом говорит.

Лучше всего, по сложившейся уже традиции, журналист Лаптев писал сатирические вещи, в них по-прежнему приметно некоторое злорадство.

В среде красноармейцев, впрочем, имя Лаптева приобрело известность: рассказывают случаи, когда Леонова пропускали, скажем, во всевозможные государственные учреждения, едва он называл свой псевдоним. Он сам описал подобный казус в своей заметке «Мимходом»: пришел Леонов на одну партийную конференцию, часовой его остановил. «Мандат есть?» – «Мандата нет, а вот удостоверение от редакции есть. Лаптев я... Вот на – читай!» – «Ну, ежели Лаптев – проходи...»

Вскоре Леонов стал ответственным секретарем. Чтоб помочь толковому сотруднику, ему обеспечили бесплатный проезд на трамвае: сохранилось удостоверение от 13 октября 1921 года, согласно которому «секретарь газеты Леонид Максимович Леонов действительно имеет право пользоваться трамвайным билетом № 98229».

Основной заботой Леонова было полиграфическое оформление «Красного воина»; кроме того, занимался он разбором почты и встречался с читателями.

«Красноармейцы присылали в газету самый разнообразный материал – заметки, статьи, небольшие рассказы, стихи. Особенно много было стихов. Написанные на обрывках обоев, газет, на оберточной бумаге, они пачками поступали в редакцию. Пришлось создать при редакции “Красного воина” нечто вроде консультации по стихам. <...> Авторы-красноармейцы, получая из частей увольнительные записки, приходили в редакцию со своими рукописями. Некоторых вызывала редакция. Бывало, беседуешь с одним автором, тут же вместе с ним вносишь в его стихи поправки, а два или три стихотворца, волнуясь, сидят и ждут своей очереди».

Начались еще и выезды в воинские части Московского гарнизона по редакционным делам: брал интервью у командиров и комиссаров, общался с участниками литературных кружков (а такие стали появляться во всех частях), консультировал военкоров.

В общем, со слесарной работой пришлось закончить: времени уже не хватало.

Тут вернулся дядя, Алексей Андреевич Петров, и Леонид переехал к нему.

В «Красном воине» Леонов отработал восемь с половиной месяцев, и за это время в газете вышло около шестидесяти его публикаций: как минимум, 15 фельетонов, 26 стихотворений, 4 обозрения, 3 зарисовки, статья, рецензия, репортаж, отчет, путевые заметки и 8 ответов военкорам в разделе «Почтовый ящик».

Многие стихи, конечно, те еще. Вот обращение «Мы – Девятому съезду»: «Веди, хозяин, будь спокоен!/ Веди страну, Девятый съезд:/ Пока на страже красный воин,/ Антанта злобная не съест!»

Сам Леонов, надо сказать, на IX съезде Советов, коему посылал стихотворный привет, не был, хотя имел возможность заглянуть туда.

Безусловно, вирши свои он слагал уже не в юношеском неумении и косноязычии, как то было в Архангельске. Тут история иная: Леонов откровенно лепил бодрую халтуру по пролеткультовским лекалам.

«Видно, впрямь остры у нас штыки./ Если враг вчерашний, враг отпетый,/ Злобно сжав в карманах кулаки,/ Собирается признать Советы!»

«От границ далекой ДВР/ До страны карельского народа —/ Миллионы нас! Какой барьер/ Мы не взяли за четыре года!/ Мы ведем по миру борозду:/ Нет преград для верящих и смелых!»

Если в архангельских своих сочинениях Леонов, как умел, наследовал декадентам, то здесь он понял, что опыты Филиппа Шкулёва как никогда востребованы. Отсюда такие строки:

«Черному делу положен конец —/ Ты победил, пролетарский кузнец./ Куй свое счастье/ В грозу и ненастье,/ Молотом бей/ Смелей!»

Впрочем, в иных стихах чувствуется натуральное леоновское русофильство:

«Мы нищи — да, но наш порыв велик,/ Когда возрастают новые преграды./ Тогда не знает он в бою пощады —/ Мужичий наш, простой наш тульский штык./ Итак, иди! Готовь за ратью рать.../ Забудь все то, что было не забыто./ Но не забудь, что наш мужик Микита/ Еще не разучился побеждать!»

Как предвестье «Вора» читаются строки о нэпманах:

«Вижу, вижу их, как сейчас:/ Двое в шубах, и грузные оба.../ Липким студнем глядела утроба/ Из свиных и заплывших глаз.../ Видно, утренний их пирог/ Был вкуснее поволжской глины...»

Именно в те дни начался голод в Поволжье, посему леоновское раздражение по поводу странного кульбита, совершенного русской революцией, кажется куда более искренним, чем радость за победу «пролетарского кузнеца».

Однако говорить о том, что Леонов тотально разочаровался в произошедшем со страной, было бы неверно. Все было несколько сложнее.

Здесь важно вспомнить стихотворение, опубликованное 20 ноября 1921 года и называющееся «Тебе, нашему (к 100-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского)»:

«Ты не знал, да и знать откуда <...> ./ Что однажды над Русью сонной/ Прогудит семнадцатый год,/ Что “униженный и оскорбленный”/ “Мертвый дом” твой навек снесет.../ Если б жил ты — ты был бы с нами».

Неизвестно, чего тут больше: попытки уверить себя в том, что обожаемый Леоновым Достоевский «был бы с нами» (что сомнительно), или желания хоть как-то оправдать именем учителя свой собственный выбор. Однако сам Леонов, безусловно, был «с ними»: и по факту своей жизни здесь, в Советской России, и тем более в силу своей красноармейской службы и работы.

Но, как покажут ближайшие события, «лиру милую» Октябрю он отдавать вовсе не собирался. Посему даже упоминание светлого имени Федора Михайловича не стоит переоценивать. Тут, скорее, расчет иной: напишу, черт с вами, что Достоевский был бы за вас, тьфу ты, за нас — лишь бы вы читали его! — и, может, толк с того будет.

В редакции «Красного воина» бывал художник Вадим Дмитриевич Фалилеев, ученик Василия Васильевича Матэ, золотой медалист Академии художеств, профессор Строгановского училища. Профессура, видимо, не была достаточно доходным занятием, посему Вадим Дмитриевич вырезал на линолеуме для «Красного воина» рисунки, карикатуры, клишированные заголовки. Леонов тоже к нему заходил по редакционным делам, так и подружился; Леонов Фалилеева очаровал.

Еще в Херсоне Леонов выбил себе в политуправлении Шестой армии направление на учебу в Москве. Изначально он хотел направить стопы во ВХУТЕМАС — Высшие художественные технические мастерские.

Леонов не только умел рисовать, он вырезал по дереву, увлекался лепкой – и, судя по работам его, до нас дошедшим, делал всё это с умом и вдохновением. Фалилеев написал Леонову рекомендательное письмо. Однако во ВХУТЕМАС его не приняли. Владимир Андреевич Фаворский, книжный график, ксилограф, преподававший там, незадолго до экзаменов с Фалилеевым разругался. В итоге, как пришел Леонов со своим письмом, так и ушел: такие рекомендации Фаворскому были не нужны!

Отправился тогда Леонов в Московский университет на факультет филологии, и там случилась с ним другая, ставшая ныне классической, история: он завалился на Достоевском, которого знал чуть ли не наизусть и любил несказанно. Так и неясно до сих пор, то ли доцент А.Д.Удальцов, принимавший у Леонова экзамены, Достоевского не признавал в принципе, то ли суждения Леонова о великом писателе показались ему никак не соответствующими действительности. (Однако позже Удальцов Леонова разыщет и извинится. «Бес попутал!» – скажет о себе.)

В общем, учиться Леонову так и не пришлось.

Возможно, Фалилеев чувствовал в том некоторую вину – за неудачное свое рекомендательное письмо.

Прознав о том, что жилищные условия у Лёни Леонова бедственные (дядя Алексей как раз жениться собрался), Фалилеевы – и сам художник, и его жена, тоже художница, Екатерина Николаевна Качура-Фалилеева – предложили Леонову переехать к ним. А у них ведь еще и две дочери были подросткового возраста.

Леонов, конечно же, согласился: куда ему еще было идти. Так и появился он в Доме художников, на Большой Якиманке, 54.

К февралю 1922 года газета «Красный воин» начала хиреть. С 23 февраля по 5 марта она вообще не выходила, потом тираж снизился с 15 до 10 тысяч, и, в конце концов, после первомайского выпуска увязшее в долгах издание работу свою прекратило. Начинался нэп и стремительно подъедал все, что не окупалось.

Но в мае 1922-го, к искренней радости Леонова, его наконец-то демобилизовали.

Всё, война окончилась! Больше тебе ни «Красной вести», ни «Красноармейца», ни «Красного бойца», ни «Красного воина». В ближайшие семь лет Леонов не напишет ничего такого, что выдавало бы в нем бывшего журналиста и политработника. Скорее, напротив...

«Деяния Азлазивона»

Одну из первых своих серьезных прозаических вещей – «Деяния Азлазивона» – Леонов написал в декабре 1921 года, в самый разгар работы в «Красном воине».

«Деяния...» очевидно дают понять, насколько далека была журналистская поденщина Леонова от потайного его дела.

Рассказ этот – уже настоящий Леонов, пошедший в путь свой и упрямо различающий ту дальнюю звезду, к которой влеком. Написаны «Деяния...» крепко, мастерски, в двадцать один год такие вещи получаться еще не должны; но, видимо, что-то сдвинулось тогда во временах и позволило совсем еще юным людям постигать вещи, и седым мудрецам малодоступные.

Сюжет рассказа «Деяния Азлазивона» таков: кочует по лесам ватага разбойников во главе с неким Ипатом, всего их 26.

(Заметим, что в мифологии цифра 26 не встречается вообще – а вот расстрел 26 Бакинских комиссаров в сентябре 1918 года стал одним из первых официальных советских мифов; слишком большого значения этому совпадению придавать не стоит, но определенные ассоциации имеют смысл.)

«[Разбойники] вышагивали с кистенями да с песнями столбовые дороги, обдирали проезжих, вычесывали подчистую случайных незадачных людей, обрабатывали купцов на скорую, немилостивую руку».

«С ними тогда случай случился. О неверную рассветную пору вытряхнули из возка богатого купца, полоснули без писку, заглянули, а в возке баба барахтается, купцова жена. Светало, спешили, а баба окричала попусту душегубами Ипатовых робят.

А был во хмелю Ипат. Шибануло ему винным паром в голову, надвинулся на бабу растопыркою, гаркнул по всю грудь:

– А ты, непутная, встречного молодца, не отведав, не хули!

Вдарил ее наотмашь ножом, глухим концом, сердце вон вышиб.

Тут робята розняли на ней кохту – бабы-де золото на грудях прячут, а там, увидели, образок небольшой расколот разбойным ножом. Новгородский Нифонт, попалитель смущающих, на нем. Распался его взгляд надвои, и обе закосившие половинки того взгляда нелюбно в Ипата глянули».

Ночью к Ипату в «сонном явлении» трижды является святой Нифонт Новгородский, и разбойник решает прекратить дурные дела навсегда, уйти в скит.

Для поддержания своего ослабшего духа разбойники воруют из одной деревни попа Игната. Деревни наименование – Конокса; заметим, что в леоновские времена действительно существовало селение с подобным названием в Архангельской области.

Поп Игнат, как все священнослужители в прозе Леонова, мягко говоря, своеобразный. Молился, к примеру, о таком:

«– Да-ай, Господи, чтоб дочка у Васьки Гузова рабеночка б от заезжева молодца понесла...

– По-одай ты мне, Господи, приход вроде Коноксы, только побогаче. Да чтоб протопопица-т как кулебячка была!..

– Пода-ай, Господи, отцу Кондрату сломление ноги...»

Получив себе такого знатного попа, ушли разбойники в «темную непроходимую дебрь».

«День-другой, кельи рядками повывросли. Третий-четвертый – частокол, а за ним ровик, защита от блудящего зверя. И в конец второй недели, неожиданная, как цветок на болоте, маленькая церквушка зеленой маковой зацвела во имя новгородского Нифонта.

В исходе той недели опять пришел Нифонт к Ипату:

– Отступаюсь от тебя на десять годов. Безустанным молением да зорким глазом сам себя все десять лет храни. Приступит к тебе Азлазивон, бес. Сам Велиар посетит тебя в месте твоём. Будь крепок. Сустоишь – приду, превознесу имена ваши».

Ипат принимает новое имя – Сысой, и скит его с той поры называется Сысоевым.

Нифонт Сысою не обманывает: разбойников начинает донимать нечистая сила в самом разном обличье.

Корчевали как-то всей ватагою пни, в числе прочих бывших разбойников был мужик Никифор.

«Взмахнул Никифор над пнем, а пень-то поднатужился да и плюнул ему в рожу самую. У того и топор из рук повалился и сам пластом рухнул. А из пня выпорскнул черный мыш. <...> Стал с той поры Никифор как бы порченным. Стал на карачках ползать. Заросла щека его синим бородатым узором, как текла по ней пневая слюна...»

За первые шесть лет бывшие разбойники от бесовских проделок потеряли троих человек. Наслали бесы белогривую собаку, питающуюся землей, но Сысой подкараулил ее в воротах.

«...окатил суку ведром свящёной воды. С грохотом провалилась в дыру собака, а из дыры пламень. Лизнул пламень в самое лицо Сысою, выел ему разом и брови и бороду. Был и без того ряб, а тут стал и с бритобрадцем схож, даже неприятен глазу».

Потом пришла в скит Рогатица, бесова сестра, но отслужили молебен – и та пропала. Затем налетело стадо песьих мух, и Зосиму-инока укусили насмерть.

Не стерпевший непрерывного бесовского разгула поп Игнат задумал сбежать, но в дороге умер.

И здесь важная цитата:

«...не скорбел в скиту Сысой по Игнатовой пропаже, говоря так:

– Ушел от нас Игнат. Ино так лучше. Не хочу, чтоб даже малая скважня была в корабле моем. Впредь сам буду службу править. Мирской поп – адов поводырь».

На седьмом году приходит в скит бес в обличье юноши-богописца и, поселившись, пишет иконе Нифонта. Но когда собираются иноки кропить водой икону, случается «лютное чудо»:

«Прыснули бесы с иконы врассыпную, кто куда, скрипя жестоко зубами. Понесло легонько паленой псиной. Поднял беспамятно архиерейские ризы свои Нифонт и, за голову схватясь, ринулся в дверь стремглав. Копытами простучал, пхнул Сысою плечом, Мелетия рогом хватил наотмашь... И нет никого – и пусто, и голо, и лукаво».

Вводят несчастных в искус и женщинами, и яствами, а потом главный бес Азлазивон приходит самочинно, и тут Леонов наделяет свой, с апокрифическими интонациями, сказ иронией:

«В пятницу о Духовом дне вошел Петр на пекарню, а из квашни здоровущий хвост торчит, и на конце его рыжий волдырь. Обиделся Петр, подскочил к кади да и зачал крестить. До поту Петр несчастную кадушку аминил, запыхался весь. Заглянул в кадь, а там черный ком. Пыхтит и топорщится вокруг него посиневшее тесто.

Злость Петра взяла, кадь запоганил, щенятина. Повернулся Пётр к Сысою бежать, а из кади хрипучий глас к нему:

– Петру-ух!..

– Ну?

– Разбей кадь-от, выпусти...

– А ты пошто лез? тебя кто пяхал?..»

Пойманного Азлазивона загоняют в могилу, ставят сверху крест и затем приходят туда всем скитом мочиться.

Не стерпев такого унижения, пошли бесы к самому Велиару (заметим в скобках, что Велиар, Белиал или Велиал – это дух зла, в Средние века считавшийся антагонистом Христа) с жалобой на Сысою и тех его сотоварищей, что еще остались живы.

Раздосадованный Велиар поднимает огненный смерч и сжигает скит.

«К робятам лицом обернясь, страшно в дымной душной мгле кричать хотел о чем-то Ипат, но рухнули бревна, расчерчивая багровые мраки ада, и пуще разметалось пламя алыми языками во все концы.

На то место наступил пятой Велиар и раздавил прах и пепел и прошел дальше, как идет сторож дозором, а буря полем...»

Своим сказом Леонов недвусмысленно дает понять, что согрешившему человеку нигде не найти мира и прощения. Не словив человека ни страхом, ни искусом, зло все равно победит.

Характерно, что подобная трактовка имеет отношение к не раз упомянутой уже Книге Еноха, где человеческая история разделена на десять «седмин» (Сысой десять лет живет в скиту), а конец земной истории известен заранее: прощения падших не случится, злые ветры и силы тьмы лишь будут крепнуть, и Страшный суд неизбежно уничтожит всех нечестивых. Апокалиптическое злорадство Книги Еноха весьма ощутимо проявляется под пером Леонова. Он утверждает, что не спасет ни покаяние, ни подвижничество, ни тем более Церковь – с мирским попом, всегда открытым к соблазну!

В первом варианте у рассказа был иной финал, мы процитируем его:

«Так спасал душу свою разбойник Ипат, ныне преподобный отец наш Сысой с двадцатью попаленными бесовским пламенем.

Нифонтова пустынь в округу – верста. Нифонтова пустынь у Бога на золоту скрижаль списана, Нифонтова пустынь – верным Спасенье, нечистым – страх. Аминь».

Но это окончание Леонов вырезает. Не оттого ли, что посчитал такой финал ложным? – и лишил в итоге и Сысовых сотоварищей, и само грешное человечество надежды на спасение.

Заметим, что и само имя Еноха в повести упоминается. В одном из эпизодов иноку Никифору слышится голос: «Встань. Грядет к тебе Спас. Даруется тебе благодать. Ты будешь лику светлых сопричислен, сподоблен судьбы Еноховой...»

(Надо пояснить, что Енох был первым среди сынов человеческих, кто обучился письму, мудрости и не увидел смерти: Бог взял его «во плоти и в костях» на небо.)

Никифор восстает, видит вроде бы Иисуса, от переусердия кланяется ему многожды. Но то не Иисус был, а бесы соблазнили и обманули инок: им и кланялся Никифор.

Впрочем, не только на скорбную судьбу человечества намекает в своем рассказе Леонов, но и на куда более близкие события.

Нарисовав огненный смерч, который сметает место обитания бывших разбойников и душегубов, Леонов пишет последнюю фразу рассказа: «...Ноне-то по тем местам уж пятый молодняк сустарился».

Если под молодняком понимать природный цикл, когда неизбежный холод уносит составившуюся зелень, то видится смысл совсем прозрачный. Рассказ написан в декабре 1921 года, когда только что «пятый молодняк» был разнесен стужею. Четвертый исчез в 1920-м. Третий – в 1919-м. Второй – в 1918 году.

А бесовской смерч пришелся на осень 1917-го.

Едва ли советская цензура могла разгадать этот рассказ во всех его внутренних каверзах, однако когда в 1923 году было решено издать «Деяния Азлазивона» – книжку запретили.

При жизни Леонова «Деяния...» так и не были опубликованы.

У Фалилеевых

Всё имущество Леонова было: рукописи, вещевой мешок и лист фанеры, на котором писал.

С этим скарбом на трамвае переехал он к Фалилеевым, а лист фанеры приспособил на маленький столик, чтоб писания продолжить.

Благодетель отгородил Леонову угол в мастерской (ограждением служил огромный холст работы Екатерины Николаевны Качуры-Фалилеевой) и выдал молодому своему другу листы ватмана. В любую свободную минуту Леонов занимался сочинительством.

Поначалу в комнате не было ни кровати, ни стола, потом какая-никакая мебель появилась, например, кровать Фалилеев смастерил гостю собственноручно.

Немного позже Качура-Фалилеева сделала акварельный портрет Леонова в обставленной уже комнатке, и обстановку, в которой он жил, можно рассмотреть на сохранившейся картине.

Сам Леонов – худой, тонкошей, в рубашечке.

За спиной, над окошком, портрет Достоевского.

Возле заправленной лежанки – лукошко, полное бумаг: рукописи.

Над спонтанным столиком – икона, несколько книг. Лежат краски и мел. Первые свои рассказы, в числе прочих и «Деяния Азлазивона», Леонов украсил собственными рисунками, выполненными акварелью и цветной тушью под лаком.

«С буржуйки стекал черный сок, вроде туши, – дополнял рассмотренный нами рисунок сам Леонов в своих устных рассказах. – Я сцеживал этот сок и переписывал им свои вещи».

Как-то в гости к художнику Фалилееву заглянул Фурманов, заметил знакомого человека в мастерской:

– О!.. Лаптев, да? Ты ведь Лаптев? Васька Лапоть, помню. Что, пишешь?

– Да пишу вот...

– Ага, ну, бывай...

И ушел.

В другой раз, весной 1922 года, не выдержала жена Фалилеева и спросила, любопытствуя:

– Лёничка, хоть бы почитали нам, что тут сочиняете?

Лёничка долго уговаривать себя не заставил.

Собралась московская интеллигенция, истерзанная революцией, издерганная начавшимся нэпом, уставшая и печальная.

А после чтений сидели гости не в силах что-либо молвить и смотрели округ себя сияющими глазами: «Вот так да... Милый мальчик, откуда ты взялся?»

Глава четвертая

Начинается литература. Сабашниковы. Первые книги

«Явление нежданное, невероятное...»

После первых же чтений к Леонову подошел издатель легендарного альманаха «Шиповник» Соломон Копельман и предложил опубликовать у него «Бурыгу». Необыкновенное везение по тем временам: литературные журналы в разрушенной Советской России фактически исчезли.

А «Шиповник» к 1922 году имел славную, с перерывом на Гражданскую войну, шестнадцатилетнюю историю. Ведущими авторами издания были в свое время Леонид Андреев и Федор Сологуб; в «Шиповнике» начинали Борис Зайцев и Алексей Ремизов, публиковались Бальмонт, Блок, Брюсов, Белый, Бунин. Почти все номера «Шиповника» состояли из безусловных шедевров или очень качественных вещей.

В том номере, где дебютировал Леонов, компания молодому автору подобралась вполне маститая: Николай Бердяев, Борис Зайцев, Сологуб со стихами; из молодых – Николай Никитин с хорошим рассказом «Барка».

С 1922 года берет начало серьезный литературный путь Леонова, тем более что и сам он вел отсчет именно с рассказа «Бурыга», открывавшего и первое, и последнее прижизненные собрания сочинений писателя.

Посвящен «Бурыга» Вадиму Дмитриевичу Фалилееву, в мастерской которого, за холстом, рассказ и был восстановлен по памяти.

Сразу вслед за первыми чтениями прошли новые; Фалилеев без устали нахваливал Леонова всем своим знакомым: «Талантливо пишет! талантливо рассказывает сказки! рисует! играет на гитаре!»

Юношу увидели и услышали художник Алексей Кравченко, с которым Леонов очень сдружился, график Иван Павлов, писатель Александр Яковлев, семейство издателя Михаила Васильевича Сабашникова – сам он появился чуть позже, когда его чуть ли не за руку привели старшая дочь Нина и двоюродная племянница, художница Маргарита Васильевна Сабашникова (кстати, бывшая жена поэта Максимилиана Волошина).

После нескольких «сред» у Фалилеевых Леонов пошел «гастролировать» по всей Москве.

Издатель Сабашников впервые увидел и услышал Леонова у своих знакомых Григоровых (глава семейства был юрист и теософ) на Садово-Кудринской, в большом и просторном доме.

«Читал Леонид Максимович хорошо, очень своеобразно, чрезвычайно быстро, иногда как бы выкрикивая отдельные слова, – вспоминал Сабашников. – Молодой гибкий голос и приятное, выразительное лицо содействовали, в свою очередь, общему впечатлению».

На вечере у Григоровых Сабашников пригласил Леонова выступить и у него в гостях с рассказом «Туатамур» – историческим повествованием от лица военачальника Чингизова воинства (оригинальная вещь, которая вскоре вызовет бурное приятие Горького; впрочем, далеко не его одного).

В свою очередь, у Сабашникова появился художник Илья Семенович Остроухов и вскоре устроил вечер Леонова в своем доме, что в Трубниковском переулке.

Так вот и передавали его из одних радостных рук в другие.

Если говорить о появлении Леонова в большой литературе, без эпитетов в превосходной степени обойтись трудно.

Многим тогда нравилось думать, что этот замечательно красивый, большеглазый, белокожий юноша возник буквально из ниоткуда, был вылеплен из воздуха и света, как торжество долгих читательских ожиданий и хоть какая-то, но расплата за неустанное унижение великороссов и печальное расставание с отчавившей невесть куда Россией.

Унижали-унижали – отчавивала-отчавивала – и тут такой дар! Такой несоизмеримый – с юностью, кротостью автора – писательский талант.

Даже Сергея Есенина почти десятью годами раньше так не встречали: тогда еще циничнее были, развращеннее, снисходительнее.

Сегодня же всякий ценитель русской литературы готов был обнять этого юношу как родного.

Леонов тогда уже научился особенно не раскрываться при расспросах: мало ли где был я да кого повидал.

С другой стороны – а что ему, про Землячку, что ли, рассказывать, про то, как княжна его спасла от ареста, или про архангельскую школу прапорщиков?

Лучше и не помнить об этом – а послушайте сказ.

«Послал мне Бог икону, – писал в те дни Илья Остроухов Федору Шаляпину. – <...> Это икона совершенно сохраняющая величайшего и талантливейшего нашего мастера XIV века Андрея Рублева. <...> Второе явление еще более неожиданное, невероятное».

Что же может быть невероятнее обнаруженной иконы Андрея Рублева? Вот ответ.

«И вспоминаю я Вас с этим явлением на каждом шагу, при ежедневной почти встрече с ним... Ух, как жалко, что Вы не с нами!.. Как радостно Вы поняли бы его. Несколько месяцев назад объявился у нас гениальный юноша (я взвешиваю слова), имя ему – Леонов. Ему 22 года. И он видел уже жизнь! Одни говорят “предвидение”, другие “подсознание”. Ну там “пред” или “под”, а дело в том, что это диво дивное за год 16 таких шедевров наворотило, что только Бога славь, да Русь-матушку!»

На самом деле, даже не 16, а 18, – и далеко не все из них Леонов опубликовал. Но работоспособность у него накануне и сразу после демобилизации была поразительной.

В марте 1922-го он пишет «Бубновый валет», первую редакцию «Гибели Егорушки» и доньше не опубликованное «Повествование о великой тоске». В мае перерабатывает написанную, напомним, еще в Архангельске, в 1919-м, «Валину куклу» и создает «Туатамур».

В июне – «Случай с Яковом Пигунком», в июле – «Уход Хама», к августу – «Деревянную королеву», в сентябре – «Халиль», в октябре – повесть «Петушихинский пролом», а к декабрю завершает еще одну повесть – «Конец мелкого человека».

В те же сроки появляются «Бурьга» и «Притча о Калафате», которая войдет отдельной главой в «Барсуки».

Кроме того, на исходе 1921-го и на исходе 1922 годов он пишет еще две, не публиковавшиеся при его жизни, вещи с характерными наименованиями – упомянутое «Деяние Азлазивона беса» (именно так она называлась в первом варианте) и «История беса Василья Петровича» (доделана в 1923-м, подарена Фалилееву, утеряна и не найдена до сих пор).

Ощущение от всей этой щедрости очевидное: Леонов обнаружил некие свои потайные родники. Оставалось лишь щедро черпать – а там все не кончалось и не кончалось.

Может показаться, что этот плотный, цветной, ароматный язык, эта щемящая, безысходная тоска, кочующая из рассказа в рассказ, эта мелодика его прозы, зачаровывающая по сей день, – зародились словно бы сами по себе; но это, безусловно, не так.

Зарядьевские типы, мудрые деды, материнские печали, отцовские мытарства, поморский говорок, сказки Писахова, долгие дороги от Белого до Черного моря, белогвардейщина, красногвардейщина, костры и тачанки, и махновщина, и сотни разных людей, и многие смерти, и несколько раз совсем рядом прошедшая смерть собственная, и, наконец, предошущение огромной жизни, – все это сложилось в юной голове в замечательный, а если всмотреться – жуткий в своей красоте узор, который оставалось лишь передать бережно и честно.

Были, конечно же, у первых почитателей Леонова и споры, и опасения. Остроухов и Сабашников много говорили на эти темы, и Остроухову хотелось верить, что Леонов – обожаемый его Лёня – не пойдет служить, в его понимании, бесам, взявшим власть над Россией. Мудрый Сабашников был куда более реалистичен.

– Биться будут за него, тянуть к себе, рвать на части... – говорил он.

Но пока Леонова «рвали на части» лишь желающие послушать его.

Издатель Сабашников

В жизнелюбивой, веселой семье Фалилеевых Леонов прижился легко – он и сам был неизменно остроумен и прост в общении. Конечно же, помогал им, чем мог: ходил в ГУМ за пайком художника, привозил его домой на салазках, иногда по дому что-нибудь мастерил, чинил поломки в хозяйстве.

Ну и круг общения благодаря Фалилеевым у него расширился все более.

Леонов стал часто посещать и Остроуховых, и Сабашниковых – небольшая квартира последних была одним из центров культурной жизни в Москве. К ним часто заходили литературовед Мстислав Цявловский, историк Сергей Бахрушин, писатель Георгий Чулков, славист, византолог, этнограф Михаил Сперанский – самые разные и замечательно интересные люди, относившиеся к Леонову с любопытством, а то и с восторгом. К примеру, Цявловский так страстно хвалил Леонова, что маститые гости волновались, как бы нескрываемое восхищение не вскружило голову юноше.

Для некоторого головокружения были и другие причины. Во-первых, Леонов, пожалуй впервые, очутился в кругу интеллектуалов европейского уровня. Сабашников рассказывал, что Леонид Максимович бывал у них в дни научных докладов: к примеру, когда Абрам Иоффе «делал сообщение о новейших воззрениях в физике». Помимо того, выступали там и Максимилиан Волошин со стихами, и старый знакомый Леонова Борис Шергин с новыми архангельскими сказками.

А во-вторых, здесь и познакомился Леонов с Таней Сабашниковой, младшей дочкой издателя.

Сабашниковы были хорошо известны в России. Издательство свое на паях с младшим братом Сергеем Михаил Васильевич открыл еще в 1891 году, когда ему было всего двадцать лет. Издавали Сабашниковы как художественную, так и естественно-научную литературу.

Об отношении Сабашникова к советской власти гадать не приходится, достаточно вспомнить, что к 1917 году он был человеком и успешным, и, прямо скажем, состоятельным: владел не только книжным делом, но и сахарным заводом на Украине. Думал о расширении издательства, но...

«Мечтам не было суждено сбыться, – писал сам Сабашников. – Произошла Октябрьская революция. <...> Мы начисто погорели: личная квартира, контора, издательство. <...> Личных средств у меня не оставалось после пожара и произошедшей за ним национализации завода и имений и реквизиции текущих счетов в банках».

Как ни странно, Сабашников быстро выправил свое безвыходное, казалось бы, положение: к осени 1918 года издательство «встало на ноги, возобновив свою работу во всех направлениях», – вспоминал он.

Имеет смысл говорить и о достаточной независимости Михаила Васильевича, и – одновременно – о хороших связях с некоторыми представителями новой власти (несмотря на то, что он долгое время был заметной фигурой в кадетской партии). Например, само издательство Сабашникова не было национализировано. Известна фраза Владимира Ленина, брошенная им Луначарскому во время разговора о старых книгоиздателях: «Наиболее культурным из них, вроде Сабашниковых, надо помогать, пока не будем в силах их заменить полностью».

Михаил Васильевич, дабы продолжить самое главное дело свое – книгоиздание, вовсе отошел от политики, но принимал участие в общественной жизни: доход с нескольких книг издательства перевел в фонд помощи беспризорным детям, перечислил крупные средства голодающим Поволжья, в 1921 году крупную сумму передал Всероссийскому союзу поэтов...

Это, впрочем, не спасло Сабашникова от того, что к 1921 году он был уже четырежды арестован. Его брали под стражу, допрашивали и отпускали, как сам позже добродушно отмечал Сабашников, «безо всяких последствий». Но сам факт постоянных арестов и увиденное им в тюрьме благодушия ему явно не прибавляли.

«...Увели отсюда на казнь гимназистика, – писал Сабашников жене из тюрьмы, – у бедного руки тряслись, и он не мог застегнуть ремня у штанов. Пришлось беднягу снаряжать. Как назло, озорной анархист стал громко, во всех подробностях описывать процедуру казни теперь и при царях».

Иногда Сабашникову помогали старые знакомства.

«Было уже очень поздно, когда в коридоре слышались шаги. В скважину нашей двери просунули ключ. Мгновенно в камере все притаились. Ключ лязгнул. Дверь отворилась. В коридоре стояли три надзирателя и при свете ручного фонарика разбирались в списке. Послышалось по складам: “...аба.... Саба.... Сабашников – есть такой?” Я вскочил как встрепанный. “Это вы?” – “Я”. – “Михаил Васильевич?” – “Да”. – “Свердлова знаете?” – “Знаю”. – “Распишитесь!” – сказал мне надзиратель, передавая плитку шоколада... Очевидно, меня этим хотели поставить в известность, что обо мне не забудут.

Это было очень трогательно. Плитка, конечно, сразу пошла в раздел по камере, и все тотчас же заснули без просыпу до утра».

Сабашников был, что называется, человеком большой души, истинным русским просветителем, истово преданным своему делу, и главные черты свои – последовательность, жертвенность, любовь к искусству – передал и дочери Тане: именно она станет главным помощником Леонида Максимовича Леонова на долгие годы.

Дары

Симпатию молодых людей друг к другу заметил Вадим Дмитриевич Фалилеев; он и переговорил сначала с молодыми, а потом с Сабашниковым.

Молодые люди, как и следовало ожидать, желали связать свои судьбы, а Михаил Васильевич Сабашников оказался вовсе не против. Есть основания думать, что он никогда не пожалел об этом впоследствии: отношения с Леоновым у легендарного издателя были самыми теплыми. Мы еще вернемся к истории общения Леонова с семейством Сабашниковых: там до сих пор таится одна, дурного толка, легенда, которую нам предстоит развенчать.

Получив добро, молодые – теперь уже на полных основаниях – в ожидании свадьбы общались постоянно, гуляли по Москве, посещали выставки и музеи. Таня неизменно присутствовала на новых чтениях Леонида у Фалилеевых.

Свадьба случилась 25 июля 1923 года, отвечал за ее устройство Михаил Васильевич. Молодой писатель еще не имел серьезных средств: даже на собственную свадьбу он пришел не в пиджаке, а в суконной куртке. Оба родителя его были небогаты; более того – ни отца, ни матери на свадьбе не было. Почему так получилось, семейная легенда умалчивает. Может быть, Леонид решил не приглашать родителей – отца из Архангельска, а мать из деревни. Возможно, сами родители не смогли приехать, скажем, по материальным причинам. Хотя не станем исключать и возможность самого факта внутрисемейного раздора: о сложных отношениях Леонида и его отца мы уже упоминали; признаем, что и с матерью у него никогда не было душевной близости...

Леонид и Татьяна обвенчались в церкви села Абрамцево. По тем полуголодным временам свадьба скромной не была: даже на сохранившейся с того памятного дня свадебной фотографии видны не менее тридцати приглашенных: Михаил Васильевич со строгим лицом, Григоровы, профессор Рачинский, Фалилеев с дочерью Катюшей и другие.

Посаженым отцом на свадьбе был не кто иной, как Александр Дмитриевич Самарин, бывший камергер двора его императорского величества, московский губернский предводитель дворянства, какое-то время занимавший должность обер-прокурора Святейшего синода.

Кроме того, он был главуполномоченным Российского отделения Красного Креста – и, скорей всего, именно на этой почве еще до революции состоялось их знакомство с Сабашниковым: Михаил Васильевич в свое время организовал бурятский отряд Красного Креста.

Самарин был к тому времени уже дважды арестован: сначала в Брянске весной 1918-го, а затем в Москве летом 1919-го. После двух с половиной лет в Таганской тюрьме (а дали ему поначалу двадцать пять!), как раз весной 1922-го, он оказался на свободе.

В течение трех лет они периодически общались: Самарин и Леонов, иногда приезжавший в Абрамцево отдыхать.

Наряду с несколькими стариками, о которых мы уже говорили и еще поговорим, Александр Дмитриевич стал одним из самых важных людей в жизни Леонова.

И здесь важно понять, какое, по сути, малое значение имела в том, в 1922, году для совсем еще молодого Леонида его недавняя красноармейская история. Какая, бог ты мой, Красная армия, какая ценность в стихотворных леоновских агитках, когда посаженный отец на свадьбе молодого литератора – недавний московский губернский предводитель дворянства и бывший обер-прокурор Святейшего синода! Когда вся атмосфера вокруг Леонова, всё его окружение всего лишь смирилось с приходом большевиков – но относилось к ним либо как к заслуженному наказанию, либо как к незаслуженному недоразумению. Да и разве могло быть иначе, со всеми этими бесконечными арестами и Самарина, и Сабашникова, и многих других людей того круга?

...Осенью 1925 года Самарина опять арестуют и приговорят к трем годам ссылки за участие в черносотенно-монархической группировке «Даниловский синод». С сентября 1926-го Самарин – в Якутской ссылке. После ссылки переедет в Кострому, где и умрет в 1932-м.

С Леоновым они больше не увидятся.

Поселились молодые у тестя, в его квартире на Новодевичьем поле, 8-А. Там у них была своя маленькая комнатка с балкончиком.

Заметим, что впоследствии, несколько лукавя, Леонов рассказывал при случае:

«Когда я сватал Татьяну Михайловну, у нее не было ничего, а я был завидным женихом, ибо ходил в рубахе ниже колен, так что о качестве штанов думать не надо было, имел печатную машинку “ремингтон” (потом продал за 18 рублей) и лохматый ковер».

Завидный жених, что и говорить!

Леонов тут, понятно, иронизирует над собою. Татьяна Михайловна была куда более завидной невестой, чем он женихом. Но в любом случае отношения их определило глубокое и пожизненное чувство: десятилетия их светлой совместной жизни тому порукой.

Лучшим свадебным подарком для Леонида Леонова стало издание двух его книг в издательстве Сабашникова: повести «Петушихинский пролом» и сборника из трех рассказов – «Деревянная королева», «Бубновый валет», «Валина кукла». Трехтысячным тиражом каждая!

Надо помнить, в какое время издавались книги Леонова: публиковаться тогда удавалось единицам, три четверти печатных станков в России не действовали, а оплата за печатание выросла на 120 процентов.

«Петушихинский пролом» – самая, пожалуй, сильная вещь в ранней прозе Леонова, безусловный шедевр. С этой повестью Леонов перешагнул из квартирных посиделок в натуральный литературный быт: он читал ее, еще до свадьбы, в апреле 1923 года на заседании общества «Никитинские субботники».

Реакция и там была крайне удивленная, если не сказать ошарашенная.

«Об этом петушихинском проломе рассказано с изумительным мастерством, – вспоминал критик Василий Львов-Рогачевский, бывший на чтениях. – Так и пахнуло деревней, дремучей Русью с ее былинными и житийными людьми, с ее дивным, узорно изукрашенным языком».

Пишет в «Петушихинском проломе» Леонов всё о том же, к чему подступался уже не раз.

Рассказ начинается с того, как старичок Пафнутий, собрав голубику, возвращался домой, случайно рассыпал туюсок и в огорчении расплакался. Пролетали мимо пчёлы, пожалели его и голубику собрали.

«И захотелось ему радость этому месту луговому приустроить. Хотел сперва церкву. “Нет, – говорит, – от церкви земле тяжело. Хотел потом дом постоянный или колодец, да порешил вот: Пускай на сем месте люди будут жить. А обок деревне – пчельник где-нибудь возле ручья. Вот и ладно будет”.

А не знал Пафнутий, что на месте слез его случится великий пролом в одном человеческом сердце».

Деревню называли Петушиха – и не потому, что первым жителем ее был Абрам Петухов, а потому, что «пели в тот день за линючей неба облачной занавеской знойного лета голубые петухи».

Петушихинские жители олицетворяют человеческую породу вообще. И, надо сказать, порода эта дурна изначально.

«...заплелось в пестрый жгут племя человека Петухова, смешались кумовья с деверьями, золовки с невестками, добрый всё народ – а попроси под окошком водицы умирающий, скажет Аннушка та же:

– Не знаем мы ничево. Пил один надысь, да ковш стянул.

Скажет Талаган:

– Эк ты, человек, несообразительный! Я сплю, а ты мене понапрас тревожишь!..

Выглянет из окошка Палагея заспанным, свиным глазом, Лукичова жена:

– Подь на колодец, да и лакай!»

Никакой радости ни самый вид человеческий, ни его святыни у рассказчика не вызывают. «Ненароком», по выражению Леонова, образовался в Петушихе «монастырёк».

«А игумен здесь податливый, именем Мельхиседек».

Как и в «Деяниях Азлазивона», Леонов поднимает тему изначальной греховности настоятеля монастыря: «Был Мельхиседек допрежь того купцом, запоец и похабник был», а прозвание было игумену в прошлой жизни Митроха Лысый.

Однажды страстно возжелал пошатнувшийся в вере своей Мельхиседек «сверкающего чуда». Молился и плакал всю ночь и весь день, взирая на раку с мощами покойного Пафнутия, но небо не подало ему знака.

«А зорко глядело из Мельхиседековой груди озорное сердце Митрохи Лысого. И когда не стало чуда, сделалась вместо сердца коряга, и коряга та свиной щетиной поросла».

Не у него одного приключилась такая беда с сердцем. Пономарь из подмонастырской округи, «плюгавый, но старательный в битье человек», с удовольствием участвует в смертном избиении конокрада Талагана, пойманного на ярмарке.

Так и добил бы пономарь человека, но конокрада спас жуткий крик мальчика Алёши, у которого при виде избиения случился припадок. Следом началась страшная гроза, когда «молнии прошли скрозь, осенили синим, и ливень ильинский хлынул ручьями вниз».

(Образ мальчика Алёши, естественно, восходит к образу Алёши Карамазова, а сцена избиения конокрада ассоциируется со сценой избиения лошади в «Преступлении и наказании», которое видит Родион Раскольников.)

Вскоре после того случая пришла война и длилась она долго, болезненно и мутно:

«Была зима первого года, но ушла зима, и стало лето. Лето было как зима, а цветы в полях были без запаха. Был второй год, был третий. <...>

А однажды крякнуло и надломилось. <...>

Открылось, что царь больше не царь, а вместо царя – епутаты. Говорили, будто попов больше не надо и бога не надо, так как на поверку оказалось, что бога нет, а вместо бога просто дыра в никуда. <...>

Вскорости после того – тогда подходила крайних стуж унылая пора – сказывали приезжие, что епутатов всех выгнали помелом взашей, а вместо епутатов незнакомые ныне люди, большаки...

Хмурился Мельхиседек, чувствовал с тревогой, что нет в нем теперь, когда нужней всего, ни веры, ни надежды, ни любви ни к чему».

Была тогда малая вероятность, пишет Леонов, что «глина произрастит яблоню», но того не случилось. Заметим, что, согласно Книге Еноха, глина и есть человеческая сущность, в которую вдохнули дух. Мог бы этот дух яблонево расцвести после революционной грозы, но никак не хватало для того глине сил.

В итоге всё спуталось вконец, «дни пошли тревожные и непонятные, черные и белые, как зубы собаки гнилой», недобитый конокрад оказался среди большаков, и вместо разбойного имени Талаган прозвание ему стало твердое и волевое – Устин.

Первым делом большаки отвезли епископа «в комиссию», откуда его уже никто не ждал, а следом сами явились в монастырь: вскрыть мощи Пафнутия и посмотреть, что там внутри.

Внутри оказались кости и голый череп.

Ужаснувшись виду мощей, игумен Мельхиседек разбил икону, а сам повесился.

Тем не завершилась дурнина в головах: Талаган, тот, что Устином теперь стал, вернулся домой, к собаке своей, которая одна его и любила на земле, «запер дверь на крючок и бил растерянную, визжащую, плачущую по-собачьи голым дрожащим кулаком».

После всех этих событий начался, как и следовало ожидать, страшный голод, и тут вновь вспоминают о глине. Петушихинские прохожие меж собой рассуждают:

«– Будто, говорили, уж где-бось за глину мужики принялись. – Неуж за глину?»

– За глину».

То ли людоедство, то ли самоедство в этом слышится.

«И тишина стала, словно покойник в доме».

Пчельник, завещанный Пафнутием, вымер. А сам Пафнутий сбежал с иконки, оставив пустую доску.

«И грянул мор и мёрли ж! – продолжает бесстрастный рассказчик «Петушихинского пролома». – В Петушихе по пятеро в день, а всего-то в ней домов, в Петушихе: семь дворов, пять ворот, из подворотен дым идет, – земля мёрла!»

«...над проклятыми, обеспокоенными полями звенело темное солнце, как навозная желтая муха в цепкой путине беды».

«...воздвигалась перед взором слабеющим облачная церква, а креста-то на ней и нет».

И в предсмертном бреду, пишет Леонов, вошел человек в церковь. «И когда вошел, все кончилось». Настала полная смерть.

Жуткое повествование это окольцовывают два сна мальчика Алёши, с истошного крика которого во время избиения будущего большевика Талагана и начался пролом в Петушихе.

В первом сне Алёша видит сундук, охраняемый то ли бесами, то ли вертопрахами. Они и говорят Алёше, что в сундуке том – человечья Радость.

Во втором сне, приснившемся после вскрытия мощей, приходит Алёша к тому сундуку, открывает и видит там – «темное, холодное, пустое место, и не было дна той нехорошей пустоте». Как и во гробе с мощами.

Вот, по Леонову, и вся человеческая Радость – одна холодная пустота, бездна... Радуйся, человек!

А тем временем вокруг, пишет Леонов, «всё красным залито, и трепещет красное и горит нескончаемо».

Большая литература начинается

С 1922 года свое издательство организует кружок «Никитинские субботники», где Леонов становится завсегдатаем.

После «Петушихинского пролома» он читает на заседаниях кружка в два захода – 27 октября и 3 ноября 1923 года – «Конец мелкого человека», Достоевскую свою, не менее безысходную, чем «...пролом» повесть.

12 января 1924 года состоялись чтения «Туатамура». 2 февраля Леонов представляет рассказ «Гибель Егорушки», 20 апреля – «Случай с Яковом Пигунком».

Под занавес 1923 года Леонов отправляет новую повесть «Записи некоторых эпизодов, сделанные в городе Гоголёве Андреем Петровичем Ковякиным» в журнал «Русский современник», и она выходит в первом и втором номерах за 1924 год. Вскоре в петроградском журнале «Литературная мысль» публикуют «Случай с Яковом Пигунком».

В начале 1924 года у Леонова уже просят автобиографию для книжки «Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков». Его имя на слуху, сам он, какие бы печальные строчки ни выводила его рука, – в ударе. Это видят многие.

Юрий Тынянов пишет о Леонове в обзоре «Литературное сегодня» (Русский современник. 1924. 16 мая): «...молодой писатель с очень свежим языком», и, не без приятного удивления разбирая его первые вещи, предполагает, что Леонов будет «бабым летом» стиховой прозы.

Уехавший в эмиграцию писатель и критик Михаил Осоргин в обзоре того же года под названием «Российские журналы» из нового литературного поколения выделяет Бабеля и Леонова, но последнего – особо, более веско.

«Несомненно одно: Леонов в нынешней российской литературе единственный типолог, – пишет Осоргин. – Как бы ни относиться к еще немногому, написанному Леоновым, но, кажется, лишь на него можно указать как на наметившуюся надежду русской литературы, не сегодняшней, а большой, настоящей».

В течение года издательство Сабашникова выпускает еще две книжки Леонова – «Туатамур» и «Конец мелкого человека».

Заметим, что в то же время Михаил Сабашников в письме именитому Максимилиану Волошину жалуется:

«Мы, производители книг, издатели, тоже переживаем трудные времена: налоги здесь, налоги там, квартирные платы, исключение из состава жилтовариществ – все это как из рога изобилия вылилось внезапно на нас, т.к. мы попали в группу нэпманов (!), конечно, по недоразумению, но когда-то все это разберется. Пишу все это не для бесплодных жалоб – у всякого свое, надо свои невзгоды про себя оставлять, а чтобы объяснить Вам, почему я еще не приступил к набору Вашей книжки».

Тексты Леонова прославленный издатель публикует куда более охотно.

Из упомянутой выше повести «Записи Ковякина...» постепенно начинает у Леонова вырисовываться первый его роман «Барсуки».

Как все начиналось: вскоре после свадьбы молодые вернулись отдохнуть в Абрамцево. Там, гуляя по лесу, набрел Леонов на песчаные бугры с темными дырами в них – то были норы барсуков.

«Это запомнилось: барсучьи норы в темном царстве громадного леса, – рассказывал Леонов. – И родилось название романа – “Барсуки”. Мужики, бежавшие от революции, вот так же глубоко забились в лес, вырыли землянки...»

К тому же у Леонова появляется новый друг – муж Нины Сабашниковой, родной сестры его жены Татьяны. Звали мужа Григорий Артюхов, и работал он в то время агрономом во Владимирской губернии, в селении Бутылицы. Узнав о замысле книги, Артюхов пригласил Леонова к себе. Зимой, в самые холода, посетили они местные владимирские села. Бродили меж черных дворов по белым снегам, заходили в гости к селянам. Леонов вслушивался в недоверчивую, скупую речь, заглядывал в сумрачные лица. Мелодия романа стала понемногу проясняться и еле слышно зазвучала внутри. Подобным образом впоследствии начиналась каждая леоновская книга: возникала какая-то важная, верная нота, и он понимал – вот так должен звучать роман.

Почти на весь 1924 год Леонов заканчивает с рассказами и повестями и делает большую вещь, чувствует в себе силы для этого.

Целую зиму, не отрываясь от стола, пишет «Барсуков», весной вновь дважды посещает Владимирскую область.

«В одном селе, – много позже рассказывал Леонов литературоведу Валентину Ковалёву, – километров сорок от железной дороги, мы попали на грандиозную пьянку по случаю какого-то праздника. Пили всем селом, собравшись в большом двухэтажном деревянном доме. Нас сразу же усадили за стол, и пиршество продолжалось. Здесь я много наслушался и насмотрелся – “деловыми” писательскими глазами...»

Там были братья Гуреевы, вспоминал Леонов:

«...трое здоровенных, богатырских мужиков: старший, бывший фельдфебель царской армии, суровый, жесткий мужик консервативного склада; младший – большевик, член уисполкома; средний, по-видимому, был эсером и играл какую-то роль в восстании, которое произошло в селе года за полтора-два до этого. Последний меня заинтересовал, я попробовал расспросить его о восстании, но он, боясь, не отвечал на мои вопросы: “Ничего не знаю. Меня тут и не было вовсе”. Но мне все же удалось кое-что выудить у него. В то время я сильно увлекался атомной энергией и рассказал ему о ней. Мой рассказ его заинтересовал, увлек: “Это что же, – спрашивал он размягченно, мечтательно, вертя коробок спичек в руках, – тогда я этой вот спичкой смогу целое поле вспахать?!” На несколько минут он стал “мой”, поддался мне, и в этот момент я задал ему несколько вопросов, на которые он ответил; потом замкнулся снова».

Чуть подробнее о той же встрече рассказывал Леонов литературоведу Александру Овчаренко.

«Спорят они, – говорил Леонов, – такими яркими, крупными, неповторимыми словами. Лежит на полу перебравший заместитель предисполкома. А вот такого роста мужик – кулак, пихает его слегка ногой и цедит сквозь зубы: “Когда уж мы вас резать будем?” А тот ему: “Руки короткие, сукин ты сын”».

Летом набравшийся впечатлений Леонов доводит роман до ума и в октябре ставит последнюю точку. Книга, которая принесет двадцатипятилетнему писателю славу и всероссийскую, и мировую, завершена.

Рискнем сказать, что «Барсуки» – не самый сильный роман Леонида Леонова. В нем нет той геометрической, замечательно выверенной и мало кем достигаемой архитектурной точности, что характеризует последующие его крупные вещи.

Тем не менее в «Барсуках» – возможно, к удивлению самого Леонова – зазвучал истинный эпос, и не оценить это звучание в раздрызганной, полурастерзанной России было нельзя.

В советской литературе, на новой, еще дышащей, еще горячей почве, впервые появилась настоящая книга: не крупная повесть, а большой роман с десятками героев; пути некоторых из них мы попробуем проследить.

Но сначала несколько слов о «Записях Ковякина...».

Ковякин и его записи

Повесть, предшествовавшая «Барсукам», начинается так:

«Мы город степной. Мы город тихий, заштатный, обделенный. От нас на север простирается степь, а к востоку – татаре попеременно с лесом и мордва. На юг же – я и сам не знаю что. Вообще же очень много кругом нас голого места».

Ирония как прием присутствует в прозе Леонова неизменно, однако «Записи Ковякина...» написаны с умышленным, нарочитым юродством: подобных вещей он не писал ранее и не напишет впоследствии. Одновременно с Леоновым в родственной эстетике начинает работать Михаил Зощенко.

Советская критика восприняла повесть почти благожелательно: «сатира на дореволюционную Россию» и т.п. и т.д. Все это, конечно, совсем не так.

Главный герой повести, маленький человек Ковякин, записывающий в стихах и в прозе гоголёвские (почти что гоголевские) происшествия, в наивности и глупости своей проговаривает вещи вполне внятные, которые Леонов отныне и надолго будет вкладывать в уста героев неоднозначных, а то и отрицательных.

Ковякин пишет, что в «наше время» не отличить сумасшедших от вменяемых. Что народ «удивляться перестал. Хоть небо на землю упади, а мы скажем “будьте здоровы”». И даже «болезни у нас пошли новые, мы таких не знали в свое время».

Важный и неизменный леоновский мотив – описание случившегося разлада с Богом. Еще до революции решили в Гоголёве повесить к Богоявлению новый колокол на местную церковь. «Раньше там колокол в 150 пудов висел, но на Пасху треснул» (как тут не вспомнить архангельские пасхальные стихи Леонова!).

Отлили новый, в 227 пудов, но когда его поднимали, он оборвался и упал, передавив ноги ямщику Степану Синеву.

«Несмотря на скорую помощь, которую оказал ему наш врач С.Б.Зенит, ноги Синеву пришлось потом отнять, – сообщает Ковякин в своих записях. – Упомяну, что удавился Степан через пять после того месяцев, хотя, в сущности говоря, ямщику ноги и не нужны».

Подобный прием будет применен Леоновым еще раз в романе «Соть», где первой жертвой большого советского производства станет маленькая девочка, погибшая при аварии.

Леонов подкладывает человеческую трагедию под начало большого дела, хоть социального, хоть религиозного, тем самым обрекая дело это на провал.

Тютчевская позиция, утверждающая, что «...дело прочно, когда под ним струится кровь», Леонову явно не близка. Что подтверждают последующие события в повести.

«В январе 1917 года произошло нашествие тараканов на наш дом», – юродствует Ковякин.

«Потом было у нас убийство: брат брата убил, и даже не в пьяном виде, а затрезво. Пошел кругооборот!..»

Так начиналась революция, и комментировать тут что-либо бессмысленно: все прозрачно.

«Матросы потом какие-то приезжали производить муть. Хрыщ, как начальник гоголёвской милиции, ходил к ним ночью и пробовал уговаривать чуть не на коленях, чтоб без греха уезжали. Но они его вышибли...»

«...Полагаю, однако, что когда Помпея и Геркулес погибали в извержениях Везувия, была у них на улицах такая же муть, а в квартирах ровным счетом недоразумение», – размышляет Ковякин.

«...Чертогон начался какой-то», – пишет Ковякин, и не ясно до конца – то ли старых чертей разгоняют, то ли новые пришли и устроили переполох в человечестве.

Предчувствуя еще больший мрак и ужас, Ковякин в начале ноября 1917 года, за несколько дней до революционного переворота, пишет письмо губернатору, в юродстве своем неожиданно произнося вещи самые важные:

«...И вообще не смейтесь над Гогулёвым, ваше превосходительство: смехи слезами запиваются, а слезинки заедаются человечинкой. Петля выходит. Но вы не обижайтесь и не отчаивайтесь: всякое дело поправимо, кроме крови. Пролитой крови, уж извините, в жилы не вернуть».

Это и есть завещание маленького человека большим временам.

Убегая от подступающей нови, Ковякин идет за правдой к монаху Феофану. Но монах теперь обитает на дереве и кукарекует в ответ на человеческую речь.

«Феофан... просвет где?» – кричит ему Ковякин несколько раз, но монах молчит и дрожит всем телом.

«И не понимая Феофанова молчанья, – пишет Ковякин, – сажусь я на пенек, гляжу в землю и начинаю плакать. Не могу удержаться, льюсь слезами без истока. И сладки мне были горшие полыни глупые слезы мои по уходящей гогулёвской старине!..»

Плачет Ковякин не только по разрушенной вдребезги старине Гогулёва, но и по судьбе человека вообще.

Собравшись, Ковякин неожиданно покидает Гогулёв, и по первоначальному замыслу Леонова он и должен был объявиться в «Барсуках» в качестве предводителя восставшего мужичья. Но Ковякин к такому делу, после всех его прозрений, был явно непригоден.

Да и сама интонация «Записей...» роману никак не подходила. Тут нужно было другое дыхание, иная тональность.

Леонов это вскоре понял.

Воры и гусаки

Читая «Барсуков», порой не можешь избавиться от ощущения, что не молодой Леонов вытягивает этот роман, а сама тема, сдвинутая дерзким писателем с места, понемногу повлекла, потащила его за собой. Так случается, если первое усилие было приложено верно: дальше тебе диктуют, и надо лишь поспевать за голосом.

Повествование начинается с приезда торгаша Егора Брыкина из Москвы в родную деревню – он собрался жениться.

Брыкин поначалу заявлен как один из центральных героев, и, насколько известно, это отвечало замыслу книги. Но потом, оттесненный другими, куда более важными лицами, Брыкин из вида пропадает на добрую половину повествования.

В центр романа выводятся два малолетних брата, которых Брыкин после состоявшейся свадьбы привез из деревни в Москву на заработки.

Пышнотелая Москва позволяет эпическому дару Леонова развернуться: он селит молодых братьев в Зарядье, где вырос сам и которое нежно любил.

Братья работают в доме лавочника на побегушках; одного брата зовут Семеном, другого – Павлом.

Семен – чувствительный, немного по-деревенски неловкий, но внимательный к миру, постепенно, понемногу набирающий древнюю, непокорную, мужицкую силу. Он станет бунтарем, выберет путь, поперечный новой власти.

Павел – нелюдимый, тяжелый, или, как Леонов говорит, «камнеобразный». Людям он не очень нравится. «Пашка глядел на мир исподлобья, и мир молчаньем отвечал ему». Ему впоследствии и выпадет стать большевиком, к финалу книги.

Еще в деревне, когда он не углядел за коровами и скотина потравилась, Пашку начали бить сельчане смертным боем, но мальчик «молчал, не унижаясь до крика или жалобы, только прикрывал руками темя. Темя было самым больным местом у Пашки, там он копил свою обиду». С самого детства, заметим, складывается у Павла отсутствие взаимного понимания с природой: и дурной травы он не видит, и животину не бережет.

Разругавшись с хозяином зарядьевской лавки, озлобленный, уходит Пашка из дома и пропадает чуть ли не до последних страниц романа.

Первую часть книги «везет» на себе Семен.

«[Семен] не особенно огорчился безвестным отсутствием брата. Павел служил Сене постоянным напоминанием о некоей скорбной посюсторонней черте человеческого существования: одна земная юдоль безо всяких небес. Крутая, всегда напряженная, неукротимая воля Павла перестала угнетать его – жизнь без Павла стала ему легче».

Мы цитируем этот отрывок по одному из первых изданий «Барсуков». Впоследствии Леонид Леонов вырежет второе предложение в приведенном выше абзаце: исчезнет важная фраза о земной Павловой юдоли, лишенной небес. Предположение о том, что Леонов пошел на эту поправку, смягчая безбожный образ Павла, скорее всего, неверно. Дело в том, что и Семен живет земной суетной жизнью, не особо оглядываясь на небеса, посему и огорчить этой своей чертою Павел брата не мог.

Зато в новом варианте романа Леонов делает важное исправление: вместо «крутой, всегда напряженной воли» он пишет: «крутая, всегда подчиняющая». Именно что подчиняющая, стремящаяся задавить любым способом.

Павел, к слову, с детства хромой, и это еще одна классическая леоновская каверза: стремление всегда наделить большевика и физическим недостатком, и неким душевным разладом.

Незадолго до революции братья встретятся, и безо всяких на то причин полувраждебно настроенный к младшему брату Павел произнесет несколько важных вещей.

Выяснится, что работает он теперь на заводе.

«Там глядеть да глядеть надо! Там при мне одного на вал намотало, весь потолок в крови был!» – так рассказывает Павел; Леонов замечает, что голос Павла дрожит «от гордости своим заводом и всем, что в нем: кровь на потолке, гремящие и цепкие станки, бешено летящие приводы».

«Я вот, знаешь, очень полюбил смотреть, как железо точат, – говорит Павел. – Знаешь, Сенька, оно иной раз так заскрипит, что зубам больно... Стою и смотрю, сперва по три часа простаивал как-то, не мог отойти».

И здесь становится понятно, что в жутком визге стачиваемое железо – это и есть метафора не только характера Павла, но и всей грядущей человеческой «перековки».

Незадолго до начала Первой мировой выросший в знатного парня Семен влюбляется в дочку местного лавочника Секретова; звать дочку Настей. Но отец попытается выдать ее за другого, и любовь Семы и Насти разладится.

В первые месяцы войны Семена призывают на службу, и больше ни герои, ни автор в Москву не вернутся. Финальная глава первой части романа провидчески названа «Конец Зарядья»: действительно, тот мир, в котором Леонов возрос и где возмужали его герои, ожидал скорый распад, и в течение первого послереволюционного десятилетия он будет стерт с лица Москвы. По сути, деды Леонова и их прототипы в «Барсуках» были последними жителями Зарядья: все они умерли, и Зарядье умерло вместе с ними.

Действие романа перебирается в черноземную русскую губернию, в две деревни: одной название Гусаки, другой – Воры. В названиях этих таится очередная, недобрая леоновская заковыка.

В упомянутых деревнях и будут происходить и революция, и контрреволюция, и партизанщина, и подавление бунтовщиков. В каком-то смысле деревушки эти олицетворяют и саму черную, тягловую Россию, и самый русский народ.

Что характерно: два враждующих этих селения образовались в свое время из одного, называлось которое – внимание! – Архангел.

Вот так вот наивысший ангел раскололся на вора и самодовольного гусака. Есть тут очевидная, жестокая ирония по отношению к народу-богоносцу, и эту иронию вскоре очень оценит Горький, который мало кого так не любил, как русского мужика, да и всю русскую деревню.

«Темные мы, ровно под землей живем!» – говорит деревенский человек в самом начале «Барсуков», задавая печальную и тяжелую ноту всему роману.

Но в своей несусветной и дерзкой иронии Леонов идет еще дальше: у него и революция начинается с того, как Воры с Гусаками начинают делить спорную территорию – Зинкин луг.

«...а был обширен и обилен Зинкин луг, четыреста пятьдесят десятин, на все четыре стороны вид – небо. <...>

Закашивали Гусаки воровские покосы и напускали на них скотину. Воры ловили скотину, приводили во дворы, требовали выкупа за потравы. Один раз тридцать голов изловили Воры и постановили взять по рублю с головы.

А те говорят:

– Мы на рубль-те пуд хлеба купим.

А Воры говорят:

– А мы продадим скотину вашу, гуси адовы.

А Гусаки:

– А мы вас пожжем, блохастых. И рожь вам сожжем.

А Воры:

– А мы вас кровью зальем...»

Ну чем не звери. Замечательный народ, только революции ему и не хватало.

Тут она как раз и подросла.

Новая власть долго думать не стала и росчерком пера разрешила спор: «Отдать весь Зинкин луг Гусакам. У Воров и своего добра с излишком».

Так мужики-гусаки стали сторонниками новой власти, а мужики-воры, в свою очередь, власть невзлюбили люто и горько.

«Отсюда, – пишет Леонов, – идет последняя распря. Одно село горой стояло за новую власть, другое выжидало любого случая отомстить за отнятые покосы».

Саркастичный и, пожалуй, даже злой двадцатипятилетний Леонов свел зачин мужицкой драмы, классовой борьбы и назревающей Гражданской войны, по сути, к анекдоту.

И положительные, милые сердцу писателя герои никак не просматриваются в этой дурацкой суматохе.

В первых строках второй главы появляется представитель новой власти, уполномоченный по хлебным делам четырех волостей, неприятный и скользкий, имеющий жадную охоту до баб и до винишка человек по фамилии Половинкин. Едет на телеге в деревню, в компании жены того самого Брыкина, с которого начинался роман. Сам Брыкин на войне, «затерялся в смертоносных полях».

Пока добирались, Половинкин женщину соблазнил, и она вскорости забеременела. Вскоре и муж объявился, дезертировавший с фронта.

Вот характерный, ёрнически поданный диалог совращенной женщины, третируемой неожиданно вернувшимся мужем, и советского уполномоченного.

Половинкин говорит:

«– Допускаю, я всем люб, потому что всем нужен. Я общественный человек, служу обществу. Меня и то уж товарищи в уезде попрекают – бабник, мол. Могут, конечно, и накомылить. А какой я бабник. Конечно, есть у меня любопытство к женщине, какая она, одним словом, – Сергей Остифеич в раздражении потер себе нос. – ...А на вашем месте, Анна Григорьевна, плюнул бы я на себя, то есть на меня. Гоняйся, мол, хахаль, за своими любами, а я, мол, выше тебя стою... у меня, мол, муж!

– Сам с ним спи, коли нравится, – гадливо засмеялась Анна. – А дите свое куда я дену? В исполком отнесу? – и качала головой, осатаневшая и опасная. – Ах ты дрянь-дрянь!»

В итоге женщина потравила себя льняными лепешками, и восьмимесячный ребенок советского уполномоченного родился мертвым.

Брыкин, так и не узнавший, кто обрюхатил его жену, однажды добирается до председательской конторы и там видит Половинкина в своем пиджаке – в том самом, в котором Брыкин венчался когда-то.

«– Пиджачок-то... – не своим голосом прохрипел Егор Брыкин в самый раскрытый рот уполномоченного, приседая в согнутых коленях, – перешивали пиджачок-то?.. Аль и так подошел?!»

Половинкин отругивается, Брыкин наседает:

«– Погоди! Трепчаком заставим вас ходить, животишко мне лизать станешь... Гусак жирный!»

Слово «гусак» тут, как мы видим, не случайно.

«– Не доберешься, пожалуй! – отмахивается Половинкин.

– Что ж, петушиное слово знаешь, что ли... что и не доберусь до тебя?.. – ярым шепотом издевался Брыкин. – Хлопушек твоих, думаешь, побоимся? – кивнул он на наган и ручную гранату, подвешенную на ремешке к половинкинскому поясу.

– Не в хлопушках, братец, дело, а высоко, братец ты мой, поставлены! – затеребил усы Половинкин, признак того, что гневался.

– Кем же ты, батюшка, поставлен? – прикинувшись старухой, прошамкал Брыкин. – Богом, что ли?..

– Чертом! – гаркнул, окончательно озлясь, Половинкин».

И черт этот, если помнить прежние раздумья Леонова о Боге, дьяволе и человеке, – конечно же, тоже не случаен.

Мужицкий бунт начался в Ворах: здешние мужики и так были сердиты на новую власть, а тут еще подоспела продовольственная разверстка – изъятие хлеба гусаковским исполкомом. Характерно, что жители деревни Воры сами друг на друга показывали, шепча исполкомовским, где у соседа хлеб припрятан. Вот она, русская соборность и всечеловечность.

После выемки хлеба воры убивают одного из исполкомовских, и тут уж, как пишет Леонов, «быстрее пошло колесо».

«Осью было то, о чем неумолчно болели воровские сердца: Зинкин луг, – а вокруг оси вертелись все малые и немалые колеса – ненасытный город, и прежний опыт, и грядущая расправа за убитого гусака».

Вину за убийство берет на себя вернувшийся на родину Семен, хотя не он убийца, но именно в нем саднит и мучится жилка бунтовщика, гулёбщика, зачинщика новой пугачевщины, жаждущего смертной мужицкой правды.

Вслед за Ворами взметнулся и запылялся весь уезд. Воры и присоединившееся к ним мужичье уходят в леса и становятся теми самыми барсуками, забравшимися в норы и выбирающимися оттуда для очередного набега и разбоя.

Накануне исхода воров в деревне появляется та самая Настя, с которой у Семена не сложилась любовь в Москве. Отца ее, купца Секретова, разорили, и он умер; семья распалась; Зарядье изменилось раз и навсегда, посему идти ей было некуда уже, только к Семе. Он ей как-то написал из деревни письмо, вот и адрес был у Насти. Остаться в одном городе с большевиками для нее оказалось совершенно невыносимым.

Тут наличествует, пожалуй, самый неудачный сюжетный ход в романе: Семен переодевает Настю в мужскую одежду и коротко стрижет ее – ну, натуральная сцена из стародавнего приключенческого повествования.

Вообще вся третья часть романа полна мелодраматических коллизий. Складывается любовный треугольник – третьим в нем становится главарь барсуков Мишка Жибанда, и Настя мечется меж ним и Семеном, пока мужики воюют и жаждут гибели новой власти.

Затаенное свое понимание происходящего на русской земле Леонов приберег до последних страниц романа, где наконец-то появляется брат барсука Семена – большевик Павел.

Кровные связи вообще сильно волновали зарождавшуюся советскую литературу: отец против сына, брат против брата и растерявшиеся в хаосе сестры – кто не помнит этих сюжетов у Алексея Толстого, Шолохова, Федина и многих иных.

Приехавший Павел узнает, что бедокурит в уезде его кровная родня, пересылает брату записку и назначает ему встречу в лесу.

Беседовать братьям поначалу сложно: говорят, как камни ворочают.

Большевик Павел, не вставая с места, все ищет грибы, принимает, приглядывается – ему кажется, что они есть где-то неподалеку, ими пахнет, и в поиске этом очевиден интерес к живой жизни, к миру, во внутренности которого так любопытно забраться.

«Не хочешь, значит, о домашних-то спросить?» – удивляется тем временем барсук Семен.

«А что... умерли?» – откликается большевик Павел, и тут только слепой не разглядит, что для этого человека кровные связи уже нисколько не важны. Зато крайне любопытен человек как таковой – как бы так его вывернуть наизнанку, чтоб он соответствовал своей великой роли и текущей задаче по переустройству мира.

В поздних, изданных после смерти Сталина, редакциях романа появляется важное суждение Павла.

«Мне вот третьего дня в голову пришло: может, и совсем не следует быть человеку? – делится раздумьями большевик с барсуком. – Ведь раз образец негоден, значит – насмарку его? Ан нет: чуточку подправить – отличный получается образец!»

Тут, по Леонову, вся большевистская философия заключена: человек негоден, но мы с ним справимся, резать будем по живому – и получится то, что нужно.

Совершенно очевидно, что постаревший Леонид Леонов относится к этому несколько скептически.

Но и в первой же редакции «Барсуков» он не скрывает свой скепсис, вкладывая в уста большевика Павла упреки буйному брату: «Мы строим, ну, сказать бы, процесс природы, а ты нам мешаешь!»

Долгое время слова эти трактовались исследователями Леонова как авторская и, по сути, просоветская позиция. Но посмотрим на следующую же фразу, произнесенную Павлом:

«А вот и грибы!» – восклицает он радостно: недаром строитель «процесса природы» так долго чувствовал их запах.

«“Это – поганки...” – вскользь заметил Семен и встряхнулся».

Вот тебе и переустройство мира! Вот тебе и строители его, лишенные всякого чувства природы и почвы!

Легко трактовать этот роман как по сути антисоветский. Сегодняшнее прочтение его вообще оставляет в недоумении: как же, честная и злая, эта вещь входила в святцы советской литературы – что она там делала вообще?

Позже, уже в 1994 году, Леонов неожиданно допишет к «Барсукам» путаное, заговаривающееся послесловие, где постарается еще больше акцентировать черную и безысходную суть Павла, но ведь и в 1924 году все было сказано предельно ясно.

Хотя и определенные шифры, и авторские зарубки тоже имели место.

В роман вошла глава «Про неистового Калафата». Стихотворение с таким названием Леонов написал еще в 1916 году, до, подчеркнем, революции. В 1924 году из стихотворения родился рассказ. Сабашников даже хотел его, в числе пяти рассказов, выпустить книжкой, но притча о Калафате не прошла цензуру.

Суть ее в следующем: у одного восточного царя был сын Калафат. Взойдя на трон, решил Калафат удивить мир и построить башню до неба. Закрыв он все капища местных богов, чтоб не мешали его великой идее, и приступил к работе, согнав тысячи и тысячи рабов. Когда башня была готова, ринулся Калафат в небо, бежал, бежал, глянул, наконец, сверху – а стоит он по-прежнему на земле.

Для «Барсуков» Леонов притчу переписал заново – и если в первой своей, донине не опубликованной редакции написана она была сказовым, пышным языком, то в романном

варианте происходит снижение лексики, и рассказывает притчу один из барсуков у вечернего костра.

Суть истории, впрочем, остается все той же.

Калафат решает покорить мир и небеса небывалой стройкой. Когда башня готова, берет он с собой семь спутников и отправляется в путь. Пять лет шел – и с каждым шагом башня, не выносившая его тяжести, уходила в землю. Но Калафат того не ведал. А когда увидел, что так и стоит на земле, – завыл дико, «ни одна собака травленая так не выла, как царь этот выл».

В притче о Калафате есть два прямых отсыла к леоновским образам большевиков.

Сначала Калафат произносит ту же фразу, что произносил уполномоченный Сергей Остифеич Половинкин. Мы процитируем фрагмент, ему посвященный:

«Да и сознание необыкновенной своей должности кружит голову: ходить среди согнутых баб, неуклонно блюсти равномерное производство травяного жнитва, покрикивать время от времени: “Каждой травине счет! Каждой травине...” Да будто и нет никого в белом свете, кроме как Сергей Остифеич... Он, Половинкин, и есть ось мира, а вокруг него ходит кругом благодарная баба-земля».

Позже, вослед за уполномоченным и Калафат призывает отца поставить номер «на каждую травину, холостую и цветущую», и на рыбину, и на звезду.

Другой отсыл – прямым к большевику Павлу.

По окончании рассказа о Калафате один из барсуков говорит про неистового покорителя неба: «А старичок-те любопытен. <...> Добра желал!»

Спустя полста страниц Павел тоже будет рассказывать, как он любопытен, и смысл его деяний очевиден: он, безусловно, жаждет добра, порядка и справедливости.

Ну и само строительство Калафатовой башни, безусловно, есть пародия на политико-социальный эксперимент, происходящий в России.

Другую каверзу можно обнаружить в той главе, где случился знаковый разговор братьев. Называется она «Встреча в можжевеле». У Леонова случайных названий не бывает, и здесь придется вспомнить, что под можжевелевым кустом просил ветхозаветный пророк Илия смерти у Господа. Тогда ангел коснулся его и сказал, что ждет Илию долгая дорога. Подкрепившись чудесно посланной ему пищей, Илия встал и в продолжение сорока дней шел по пустыне Синайского полуострова до горы Хорив. Здесь он нашел себе убежище в пещере и провел там ночь. На горе услышал он голос Господа.

«Что ты здесь Илия?» – спросили его.

– Возревновал я о Господе Боге Саваофе, – отвечал Илия, – ибо все сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее.

Господь повелел ему выйти из пещеры и стать на гору в ожидании откровения Божия. И начались страшные знамения. Сначала разразилась ужасная буря с грозным вихрем, раздирающим горы и сокрушающим скалы, за бурей последовало землетрясение, потом пронесся огонь.

Подробно трактовать эту аллюзию, думаем, не стоит: смысл здесь не в побуквенном совпадении ситуаций, а в общих предзнаменованиях для братьев, каждого из которого ждет своя долгая дорога.

Важно добавить, что пророк Илия будет взят живым на небо, и согласно верованию Православной церкви он вместе с Енохом вернется на землю перед вторым пришествием Господа.

Судя по роману «Барсуки», человека в философской концепции Леонова пока ничего, кроме страшных знамений, не ждет. Можжевелевый куст не наделяет прозрением ни одного брата, ни другого. Ангел не коснулся их и не дал им разума.

Литературный быт

Когда роман был закончен, у Леонова отнялись кисти рук, пальцы едва шевелились. Несколько дней и сам он, и жена пребывали в ужасе: как быть, чем лечиться?

Но понемногу руки ожили...

Только что написанный роман Леонид Леонов читает редактору журнала «Красная новь» Александру Воронскому. Тот жил в двойном номере в гостинице «Националь».

Дело происходило на исходе лета 1924-го. Воронский сразу понимает, что ему попало в руки, и «Барсуки» вскорости идут в печать: роман открывает шестой номер журнала, в седьмом – продолжение, в восьмом – окончание публикации.

«Красная новь» в те годы была изданием, что называется, культовым. У истоков создания журнала стояли Ленин, Крупская и Горький: первое организационное собрание редакции «Красной нови» прошло в Кремле, и четвертым на том собрании был Воронский.

Поначалу «Красная новь» выходила тиражом в 15 тысяч экземпляров, но вскоре популярность журнала начала расти – заинтересованность в новом издании оказалась неожиданно большой. Журнал фактически с нуля создавал новую советскую литературу.

«Весь писательский мир “Красной нови”, – вспоминала впоследствии писатель Лидия Сейфуллина, – действительно, без ложного пафоса, казался тогда особым, священным миром».

Хотя к 1924 году общественное положение Воронского становилось все более сложным. Еще в 1922 году была создана литературная группа «Октябрь», годом позже появился журнал «На посту», где «октябристы» заняли ведущие позиции и немедленно начали шельмовать и травить «попутчиков», и в первую очередь Воронского. Достаточно сказать, что первые два номера журнала «На посту» были целиком посвящены «Красной нови».

В итоге сложилась ситуация, прямо скажем, удивительная: всего два года назад Воронский был референтом Ленина по белоэмигрантской литературе, заведовал литературным отделом в «Правде», имел огромное влияние – и вот он уже не в состоянии справиться с «октябристской» напастью, наматывающей его редакторские нервы на «пролетарский» кулак.

Летом того самого 1924-го, когда Леонов заканчивал «Барсуков», Воронский узнал, что его положение в журнале находится под большим вопросом: двух его прежних замов убрали и поставили новых, поддерживающих «октябристов».

Происходящее в те дни в литературном мире имело высочайший градус накала, взаимного раздражения, переходящего в ненависть.

Для иллюстрации упомянем появившееся в 1924 году коллективное письмо советских «попутчиков», где говорилось:

«Мы считаем, что пути современной русской литературы – а стало быть, и наши – связаны с путями Советской пооктябрьской России. Мы считаем, что литература должна быть отражателем той новой жизни, которая окружает нас – в которой мы живем и работаем, – а с другой стороны, созданием индивидуального писательского лица, по-своему воспринимающего мир и по-своему его отражающего. Мы полагаем, что талант писателя и его соответствие эпохе – две основные ценности писателя... Наши ошибки тяжелее всего нам самим. Но мы протестуем против огульных нападок на нас... Писатели Советской России, мы убеждены, что наш писательский труд и нужен и полезен для нее».

Письмо подписали Алексей Толстой, Пришвин, Шишков, Есенин, Пильняк, Бабель, Вс. Иванов... Леонова среди них еще нет: он к тому времени не набрал достаточного литератур-

ного веса. Но появившись письмо даже не спустя год, а сразу после публикации «Барсуков», он бы там был. Позицию своих собратьев по перу Леонов разделял всецело.

И вступая в литературу, Леонов одновременно попадал в атмосферу безжалостной литературной борьбы.

Здесь, к слову, надо сказать и о сложившихся литературных грациях, в которые ему так или иначе пришлось встраиваться. К середине двадцатых наиболее значимыми среди относительно молодых имен были, безусловно, три автора: Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Исаак Бабель.

Алексей Толстой, Сергеев-Ценский, Чапыгин, Пришвин и даже начавший почти одновременно с Пильняком Вячеслав Шишков шли уже, что называется, по другому ведомству: как писатели старшего поколения.

Вскоре после «Барсуков» Леонов попадает, хоть и с бесконечными оговорками, в новые советские, а вернее сказать, попутнические «святцы». Теперь всех четверых – Пильняк, Иванов, Бабель, Леонов – пишут через запятую. Иногда прибавляя Федина, Никитина, куда реже – Катаева, Слонимского...

В ближайшие годы, когда Пильняк и Иванов начнут сдавать позиции, а Бабель станет появляться в печати и писать все реже, Леонов на некоторое время займет если не первую, то одну из первых позиций в советской литературе. А в «Красной нови» после «Барсуков» и затем «Вора» он станет безусловным фаворитом.

Но очевидным это станет чуть позже.

Пока критика неустанно треплет Иванова за то, что герои его слишком подвижны бессознательными, иррациональными побуждениями, – и великолепно начавший писатель ломается, смиряет себя, разоружает свой дивный дар. Писательская походка его становится слишком прямолинейна, голос – дидактичен, а мир, описываемый им, – скуп, скучен, сух.

Вскоре начнется жесткая атака на Бабеля за якобы очернение Первой конной в «Конармии», и скрытный, тайно переживающий обиду Бабель воспримет это крайне тяжело.

Пильняка растопчут после публикации «Повести непогашенной луны»; впрочем, и сам его рваный, заговаривающийся стиль потеряет ту актуальность, что вскружила многим литераторам и почитателям Пильняка головы в первые послереволюционные годы.

Леонов в числе немногих пойдет по избранному им пути последовательно и упрямо, хотя и пользуясь порой приемами осмысленного почти уже косноязычия.

Пока же он переживает первый и уже не местечковый, квартирный, московский, а общенациональный успех. За три года «Барсуков» переиздадут четырежды, и отклики на роман и обсуждения его как начнутся в 1925-м, так и не стихнут еще многие годы.

Несмотря на то что в «Красной нови» «Барсуки» названы повестью, сам же Воронский вскоре признаёт в издании «Прожектор»:

«“Барсуки” – настоящий роман. Прошлое в нем органически переплетается с настоящим. Настоящее, уходящее в нашу революционную действительность, не кажется свалившимся неизвестно зачем и откуда. Современное не тонет, не расплывается в мелочах сегодняшнего быта, в газетном и злободневном. Дана перспектива; вещи, люди, сцены удалены на нужное расстояние, чтобы можно было их схватить в их целокупности. Быт густо окрашивает произведение, но не загромождает его, не душит читателя... Есть то широкое полотно, о котором у нас многие тоскуют».

Были, конечно, и другие отзывы, Леонову попадало не больше иных, но и не меньше. Пожалуй, вот эта цитата из Алексея Кручёных вполне адекватно иллюстрирует тональность критики тех дней:

«Помесь водяночной тургеневской усадьбы с дизелем, попытка подогреть вчерашнее жаркое Л. Толстого и Боборыкина в раскаленной домне, в результате – ожоги, гарь и смрад: Вс. Иванов, Леонов, К. Федин, А. Толстой. Вообще в длиннозевотные повествования современная мировая напряженность не укладывается. В такт грохочущей эпохе попадают только барабан и трещотка немногих речетворцев Лефа».

Еще жестче в «Красной газете» от 1 июля 1925 года выступает один из самых злобных, поминавшихся еще Маяковским, критиков той поры, П.С.Коган:

«Печально, если расцветает леоновщина.

Она, леоновщина, это – страшное мироощущение, неумолимо надвигающееся, обволакивающее все кругом. Леонов – это бессознательно “мужиковствующий”. <...>

Перед этой пассивной и косной мощью какими-то фальшивыми, наносными и непрочными кажутся и продкомиссии, и губернские власти, и карательные отряды».

Понимали, что говорили, советские критики.

Глава пятая

Современники. «Вор»: две редакции

Фининспекция и «Унтиловск»

По сей день сохранилась повестка Мосфинотдела от 4 января 1924 года, подписанная агентом по розысканию недоимок М.Филимоновым. Повестка обязывала Леонида Леонова немедленно уплатить 56 рублей 25 копеек за патент на право заниматься писательским ремеслом.

Филимонов тогда немало нервов попортил Леонову: всерьез шла речь о полной описи имущества писателя, отказывающегося оплачивать государству свое, по мнению агента, безделье.

Из имущества было: кресло, полученное Татьяной Михайловной в качестве приданного, и упомянутые уже леоновский ковер и печатная машинка «Ундервуд». Какой-либо собственной мебели, даже письменного стола, не было – выпросили что-то у соседей, на время, тем и пользовались. Зато были резные фигурки, собственноручно выточенные Леоновым: их фининспектор тоже описал, наряду с ковром, креслом и печатной машинкой.

Леонов вспоминал, как стоял у перебирающего фигурки фининспектора за спиной, смотрел ему в рыжий затылок и мечтал воткнуть туда стамеску.

Филимонов преследовал Леоновых чуть ли не целый год: заходил то в шесть утра, то в три ночи – все, видимо, желал обнаружить пьяные оргии, на которые писатель спускал свои «невиданные» доходы. Но заставлял только спящих хозяев – молодых супругов. Что, впрочем, вовсе не остужало его преследовательский пыл.

На оборотной стороне выписанной рыжим Филимоновым повестки рукою Леонова написано: «Вот с чего начался Чикилёв в “Воре”».

Действительно, вскоре у Леонова появится герой по фамилии Чикилёв – управдом, «человечек с подлейкой». Мало того, в романе «Вор» упоминается и сам Филимонов. Одной из героинь Чикилёв сообщает, что умер его сослуживец «товарищ Филимонов... тот самый, рыжеватый такой, с которым мы еще у сочинителя Фирсова имущество описывали. Характерно, на собственных на именинах белужки поел и помер...».

Вот до какой степени разозлил фининспектор писателя! Если помнить к тому же, что Филимонов еще раз будет выведен в образе фининспектора Гаврилова в романе «Пирамида».

От описания имущества Леонова спасли хорошие знакомые: художники Евгений Кацман и Павел Радимов (последний известен и как поэт).

Кацман к тому времени уже зарекомендовал себя как художник, приближенный к власти. В 1923-м он рисует известный портрет Феликса Дзержинского, в 1924-м – запечатлевает Михаила Калинина, и так далее. Совместно с Радимовым Кацман создает Ассоциацию художников революционной России – поддерживаемую государством, многочисленную и мощную творческую группировку. Радимов какое-то время тоже был не последним человеком в Советской России, работал в Кремле, был дружен с Луначарским.

Они и свели Леонова с Григорием Моисеевичем Леплевским, занимавшим в ту пору должность председателя Малого Совета Народных Комиссаров РСФСР. Леплевский назначил Леонову аудиенцию у себя дома.

«Я назавтра пришел, – рассказывал много позже Леонов писателю и литературоведу Олегу Михайлову. – Громадная квартира. Горничная в наkolке. Провела в большую спальню. Необъятная кровать с ореховым

балдахином. И лежит маленький еврей с бородкой, накрывшись одеялом. И под одеялом возит руками.

– Я литератор Леонов.

– Да, мне звонили. Идите спокойно домой...»

На другой день Леонову звонит, как сам писатель иронично заметил, «человек с перекошенным голосом»:

– Это квартира профессора Леонова?

– Гм... Ну да... Да! Профессор Леонов слушает вас!

– К вам больше нет претензий, товарищ профессор.

С тех пор фининспекторы Леонова не трогали. Разве что о помощи Леплевского Леонов вспомнил, когда сам был глубоким стариком. Дело в том, что Григория Моисеевича репрессировали в 1939 году. К тому моменту Леплевский был заместителем прокурора СССР – Андрея Януарьевича Вышинского.

Однако ж финансовые проблемы в том, 1924-м, году, даже без «опеки» фининспекции, перед Леоновым по-прежнему стояли остро. Чтобы элементарно прокормиться, нужно было много, неустанно работать.

В середине ноября 1924 года, не отдохнув и пару недель после того как поставлена последняя точка в «Барсуках», Леонов начнет писать повесть «Унтиловск».

Повесть создается трудно и медленно. Что-то явно не получается; тем более если помнить о том, как Леонов совсем недавно за год выдавал по десятку новых вещей.

«Унтиловск» Леонов завершит в марте 1925 года, чуть ли не через пять месяцев после начала работы, и сразу понесет повесть на суд своему старшему товарищу, художнику Илье Семеновичу Остроухову – тому самому, что организовывал одни из первых леоновских чтений.

Внимательные и чуть уставшие глаза, взглядывающие поверх пенсне, неизменные галстук, пиджак, манжеты – вот он, Остроухов. Леонов относился к нему с сыновней привязанностью и очень ценил внимание старика.

Еще бы: Илья Семенович – автор нескольких шедевров, уж Леонов-то, умеющий держать кисть в руках, понимал в этом толк. В недавнем прошлом Остроухов был одним из попечителей Третьяковской галереи, он собрал уникальную коллекцию древнерусской живописи. После революции коллекцию национализировали, но Остроухова назначили пожизненным хранителем.

Созданный на основе собрания Остроухова и открытый в 1920 году Музей иконописи и живописи Леонов посещал не раз и не два. И домой к Остроухову наведывался часто.

Спустя несколько лет Леонов напишет в письме Горькому:

«Мне всегда был необходим человек, которого я бы очень любил и которому беспредельно верил [а прямо сказать – отец. – З.П.] . Долгое время таким был, между нами говоря, И.С.Остроухов, человек грубый и великого чутья. <...>

...бывало, приходил к И<лье> С<еменовичу>, садился, наливал рюмку-две (не больше) водки, ему и себе, и этак просиживал вечер с ним, молча. Он очень здорово умел молчать, но обоим слышно было, как внутри, так сказать, работают машины».

Впрочем, не только молчали, но и разговаривали, конечно, и удивлять старик ой как умел.

Случай был: вытаскивает как-то Остроухов из стола толстую тетрадь, показывает своему гостю – любимцу Лёне.

– Что это? – спрашивает Леонов, разглядывая заметки, строки стихов, зарисовки лошадей и горцев, пейзажи.

– Это дневник Лермонтова, – ответил Остроухов.

Он его купил у какой-то старухи и в подлинности дневника ни секунды не сомневался.

Можно представить себе трепет и удивление Леонова...

(После смерти Остроухова дневник исчез и не найден до сих пор.)

Всевозможных раритетов и редкостей собрал Илья Семенович великое количество, но главное – он сам был большой человеческой редкостью.

Вот к нему, замирая сердцем, пришел Леонов с «Унтиловском».

– Это нельзя печатать, – ответил Остроухов, выслушав чтение.

О сюжете «Унтиловска» мы поговорим позже, когда речь пойдет о пьесе, сделанной по мотивам повести, однако с Остроуховым согласимся: переход от первоначальной сказовой манеры в реалистическую, с элементами сатиры прозу Леонову дался не сразу; повесть рассыпается, она лишена внутреннего костяка.

Но в тот день Леонов ожидал никак не критической реакции. И не только потому, что едва изготовленный, сырой еще труд был ему самому по нраву.

Финансовые проблемы в связи с фининспекцией возникли тогда не у него одного. Тестя, Михаила Васильевича, тоже всю осень и начало зимы, вплоть до конца декабря, терзала фининспекция, не позволяя издательству выпустить ни одной книги. Только к концу 1924 года Сабашникову посчастливилось выиграть суд по поводу чрезмерного налогового обложения.

При таких обстоятельствах Леонову, хоть волком вой, необходимо было самому отвечать за себя и свою молодую семью.

– Не могу не опубликовать. Деньги нужны, – сказал он Илье Семеновичу. –

И «Красная новь» ждет повесть.

Остроухов все равно был непреклонен.

– Денег нет? – возмутился старик. – Идите на вокзал и разгружайте уголь... Чем угодно занимайтесь, но «Унтиловск» не публикуйте. Это ниже ваших возможностей.

Леонову верили, на Леонова ставила почти вся московская интеллигенция, не покинувшая Россию после 1917-го.

И он послушался. Рассказывал потом многожды, как шел домой от Остроухова и, в злости и обиде, плакал. Так был уязвлен!

После несколько раз перерабатывал и сокращал «Унтиловск»... В конце концов убрал в папку, задвинул в стол и завещал никогда не публиковать.

Взялся за другую повесть: в центре повествования – дом престарелых, немощные люди с их немощными заботами... И тут в дом престарелых приходит весть о революции.

Очень леоновский сюжетец! Но эту повесть тоже бросил.

Тогда понемногу начал формироваться прообраз романа «Вор», одного из главных сочинений Леонова. Поначалу роман назывался «Возвращение Мити».

Чикилёва, упомянутого выше, он уже высмотрел для того, чтоб использовать в новой книге. В пивнушке у Триумфальной арки попался другой герой – старик, рассказывающий за мелочь завиральные истории из дореволюционного быта: с него Леонов срисует своего Манюкина. А вскоре состоится знакомство Леонова с Сергеем Есениным, тоже для романа крайне важное.

Но по дороге к Есенину мы заглянем ненадолго в Коктебель.

Леонов и Булгаков

Близилося лето 1925 года, и чета Леоновых начала строить планы: куда им выбраться из душной Москвы, чтоб у них была возможность отдохнуть, а Леонид смог поработать над начатым романом.

В разгаре весны очень кстати пришло главе семейства Михаилу Васильевичу Сабашникову приглашение от Максимилиана Волошина навестить его «Дом поэта» в Коктебеле.

По собственному плану возведенный поэтом дом на берегу Черного моря с 1923 года стал обителью литераторов, ученых и всевозможных зачарованных бродяг.

Рискнем предположить, что, приглашая Сабашникова в гости, Волошин желал еще раз попробовать положительно разрешить вопрос о публикации своих книг в издательстве Михаила Васильевича.

Но Сабашников в ответном письме предложил иной вариант:

«Я очень признателен за приглашение Ваше в Коктебель, – написал он. – Воспользоваться сим не смогу – после неудач и аварий прошлого года в нынешнем будет не до отдыха: надо восстановить работу издательства, расширить его и дать ему размах. Но Леоновы, Таня и Лёня, загорелись желанием съездить к вам на побывку».

Леонид знал Волошина еще по Москве, ну и Танечку поэт, само собою, видел – когда выступал у Сабашниковых. К тому же Волошин пребывал еще и в некотором родстве с Сабашниковыми: в 1906 году, напомним, женился он на двоюродной племяннице Михаила Васильевича; правда, в 1925 году жил он уже с другою женщиной, Марией Заболоцкой.

После письма Сабашникова и Леонов отправляет Волошину благодарное послание.

«...хотелось бы использовать разрешение Ваше – если, конечно, это возможно! – с 1-го приблизительно мая до 1-го хотя бы июня.

<...> Я совершенно не знаю условий жизни в Крыму, ибо никогда не был там, – не знаю – удобно ли это время в смысле погоды и проч., – продолжает Леонов. – Если это время удобно для Вас, я очень прошу Вас черкнуть мне самую коротенькую записку, что-де, мол, возможно, а маршрут, мол, такой-то и такой, а захватить с собой нужно то-то и то-то и т.д.».

Волошин дал Леоновым положительный ответ, и 10 мая молодые супруги выехали в Коктебель: из Москвы прямым поездом на Феодосию и оттуда на линейке почти до места назначения.

Волошину шел сорок восьмой год; в 1925-м он праздновал тридцатилетие творческой деятельности. Впрочем, в постреволюционную литературную ситуацию встроиться ему никак не удавалось. Достаточно сказать, что по поводу его юбилея появилась лишь скромная заметка в «Известиях».

Однако сам Волошин – человек, влюбленный в жизнь, людей, искусство, – еще бодрился, еще был, как ему самому казалось, полон сил.

О волошинском Доме поэта ходили забавные слухи: будто у хозяина есть «право первой ночи» с приезжающими гостями, будто он голый ходит с венком на голове, будто гости одеваются в «полпижамы»: одному, значит, рубашка без штанов, другому – наоборот.

Все это, конечно, оказалось сущими выдумками. Волошин вел себя более чем достойно, был замечательно вежлив со всеми гостями, хотя слухи о себе выслушивал заинтересованно: вся эта мифология ему, очевидно, нравилась.

Леоновых разместили в отдельном, вроде татарской сакли, домике. В том вновь проявилось уважительное отношение к семейству Сабашниковых, тем более что издатель еще в

письме просил Волошина подобрать комнату солнечную и сухую, не на северной стороне – «у Тани слабы верхушки легких», пояснял Михаил Васильевич. Жена Сабашникова, Софья Яковлевна, отдельно сетовала Волошину: «Леонов по молодости не придает значения многому, а Таня сама не решится, может быть, спросить Вас». Просматривается в этих строчках известное отношение к Леонову: теща все ж таки.

В тот месяц в Коктебеле гостили самые разнообразные люди: историк искусства, философ, переводчик Александр Габричевский, писательница Софья Федорченко и ее муж Николай Ракицкий, пианистка Пазухина с двумя детьми, знакомые супруги Волошина самых разных, вовсе не творческих профессий.

Чуть позже появится поэт Георгий Шенгели с женою, несколько раз заглянет писатель Александр Грин, живший неподалеку. В общем, компания любопытная, особенно если разглядывать ее три четверти века спустя.

Однако леоновский, спустя всего десятилетие, взгляд на коктебельское общество в его романе «Дорога на Океан» будет лишен и восхищения, и благодати, а пронизан скорее печалью.

Вот хозяин дома в описании Леонова:

«...тучный, рано одряхлевший человек в поношенных штанах, вправленных в трикотажные гетры, и в просторной, как море, серого тканья рубаше. Дымилась на ветру его седая грива, стянутая по лбу узким ремненным пояском. <...>

Отличный мастер приподнятого поэтического слова, он угасал здесь без славы и литературного потомства. Время было такое, когда пророки нарождаются в народе – поэт мнил себя одним из них, но и отлично сложенные пророчества его не сбывались. Порою гости бывали единственными потребителями его творений, равно величественных, неискренних и умных. То были художники и профессора средней руки, состарившиеся поклонники и просто милые и болезненные люди, которым врачи прописали умирать на южном побережье. За комнату и близость к музам они платили беззаветным восхищением перед меркнувшей звездой поэта. Со скуки здесь любили чудачков.

Утром хозяин повел гостя смотреть Карадагские ущелья, а вечером – древнее Киммерийское плоскогорье: полынь хороша на закате. Он знал здесь каждый уголок и самое море считал своим произведением...

Постоянное поэтическое возбуждение поддерживалось в этом доме. Каждый сочинял что-нибудь в меру сил...»

Детали, надо сказать, Леонов указал все документально точно: он, в числе иных гостей, действительно ходил с Волошиным и в Карадагские ущелья, и на Киммерийское плоскогорье, и общее «поэтическое возбуждение» тоже имело место. Веселились как умели: ставили бесконечные шарады, разыгрывали друг друга, наряжались самым немыслимым образом, опустошая хозяйские гардеробы.

Леоновы поначалу пытались соответствовать настрою, но вообще участие в массовых мероприятиях было не в их характере.

Леонид с куда большим любопытством изучал местную флору. Имея дельную привычку что-то всегда создавать собственными руками из подсобных материалов, вырезал себе красивую трость из местных древесных пород и потом увез ее в Москву.

Уже со второй недели Леоновы все чаще держались особняком, большей частью гуляли, тем более что затеряться среди не менее чем сотни гостей было просто.

Не посещали они, впрочем, и те мероприятия, куда сходить стоило: например, игнорировали авторские вечера Максимилиана Волошина. Хотя и приехавший вскоре в Коктебель Михаил Булгаков чтения Волошина тоже неизменно пропускал.

Михаил Афанасьевич вместе со второю своей женою Любовью Белозерской прибудет 12 июня. Их поселят на первом этаже двухэтажного каменного флигеля, носившего название Дом Юнге.

По итогам поездки Булгаков сразу же выскажется: с 27 июля по 31 августа того же, 1925-го, года будет опубликован цикл его очерков «Путешествие по Крыму» с отдельной главой о Коктебеле. С неизменной своей иронией Булгаков опишет некоторые привычки отдыхающих: к примеру, общую страсть к поиску редких камней на побережье – «каменную болезнь». Леонов ею, кстати, тоже переболеет – и наберет с собою всевозможной необычных форм гальки.

К моменту встречи в Коктебеле Булгаков и Леонов были немного знакомы: виделись на Никитинских субботниках, где оба выступали с чтением своих произведений, причем Леонов смотрелся там более успешно. Известно разочарование Булгакова после собственных выступлений, отразившееся в желчной дневниковой записи: «Эти “Никитинские субботники” – затхлая советская рабская рвань, с густой примесью евреев».

Булгаков даже как-то бывал у Леонова в гостях, на Новодевичьем, – например, на чтениях «Записей Ковякина...».

Но никаких внятных взаимоотношений меж Булгаковым и Леоновым не сложилось ни до Коктебеля, ни после. Пожалуй, они и не могли сложиться.

Булгаков был на восемь лет старше Леонова, однако если объем написанного ими к 1925 году был уже примерно равноценен, то литературный статус последнего выглядел куда серьезнее.

У Булгакова уже готов первый роман – «Белая гвардия», но опубликован он только частично в журнале «Россия». В эмигрантской газете «Накануне», издающейся на деньги коммунистов, публикуются его «Записки на манжетах», и относится к тому Булгаков двойственно: с одной стороны, хоть какие-то публикации, с другой – газета пользуется откровенно дурной славой. Вместе с Бабелем, Олешей, Катаевым, Ильфом и Петровым Булгаков работает в популярнейшей газете «Гудок», печатает там свои фельетоны и испытывает к этой поденщине натуральное презрение, переходящее в ненависть.

Булгакова многие заметили, в том числе и Волошин, писавший о «Белой гвардии» как о вещи «очень крупной и оригинальной».

«...Как дебют начинающего писателя, – утверждал Волошин, – ее можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого».

Но, кроме Волошина, так почти никто не думал, и критика отзывается о Булгакове в основном неприязненно.

О Леонове пишут куда больше, и совершенно роскошные книжки его выходят в серьезном издательстве, и «Красная новь», опять же, его публикует, а не Михаила Афанасьевича.

Предположим, что Булгакова отчасти раздражал ранний и шумный успех Леонова, да и сама эстетика леоновской прозы была Михаилу Афанасьевичу несколько чужда. Спустя год Булгаков на допросе в ОГПУ признается: «На крестьянские темы я писать не могу, потому что деревню не люблю». Надо понимать, что и читать «про деревню» в ранних сказах Леонова и в тех же «Барсуках» Булгаков несколько брезговал.

В Коктебеле Булгаков читает публике «Роковые яйца», а Леонов как раз отрывки из «Барсуков». Чтение происходило в мастерской Волошина. Александр Габричевский вспоминал потом, как в то время, когда Леонов читал, Булгаков сидел на антресолях и дремал, всем своим видом выражая полнейшее равнодушие к чтецу. Но едва чтение прерывалось, Булгаков вскакивал, демонстративно перевешивался через перила и начинал бурно аплодировать. Юродствовал, в общем.

Супруга Габричевского – Н.А.Габричевская (Северцова) – кратко сообщила потом, что Леонов с Булгаковым «не сдружились». Еще бы.

Правда, на фотографии, сделанной кем-то в Коктебеле, все они запечатлены вместе: Волошин, Федорченко и Леонов с Булгаковым, плечом к плечу. Снимок, кажется, зафиксировал очередную коктебельскую шараду – потому что Волошин вещает о чем-то, а молодые писатели слушают его с покорным и наигранно удрученным видом.

Леонов и Булгаков уедут из Коктебеля вместе, 7 июля. Доберутся вчетвером до Феодосии и расстанутся: Леоновы неожиданно раздумают плыть по морю.

В Коктебеле обе писательские семьи, несмотря на некоторую свою мизантропию, оставили о себе хорошее впечатление. Пианистка Пазухина, к примеру, среди нескольких десятков гостей именно их, Леоновых и Булгаковых, назвала «лучшими» для себя, самыми душевными.

Потом многие годы Леонов и Булгаков будут внимательно друг за другом наблюдать, почти никогда вслух о своем отношении не говоря.

Булгаков явно прочтет роман «Вор» и, несомненно, попадет под его влияние, о чем мы еще скажем подробнее.

Леонов появится у него в романе «Записки покойника» под видом молодого литератора, «с необыкновенной ловкостью» сочинявшего свои рассказы. Лирический герой «Записок...» испытывает к ловкому молодому литератору некоторую ревность.

Зато Леонов, многие десятилетия спустя в который раз переписывая «Пирамиду», будет упрямо повторять, что роман «Мастер и Маргарита» он не читал. Но это не так, конечно.

Сложные отношения.

Поработать в Коктебеле Леонову не удалось: в том же году он заметит мимоходом, что сочинительство у него получается «только в тишине и на ровном месте», а этого как раз недоставало все полтора месяца отдыха.

«Неспокойная природа», так определит Леонов Коктебель, «буйно очень».

Думается, что природу в данном случае затворник Леонов понимал очень широко: имея в виду не только ветер и море, но и людское поведение в тех местах.

Летом 1925-го Леонов отправится в свою ярославскую деревеньку, там ему писалось куда спокойнее.

А в Коктебель Леоновы, как и Булгаковы, больше не поедут никогда, и от «коктебельского кружка», самоорганизовавшегося в Москве вокруг упомянутой выше писательницы Софьи Федорченко, будут держаться на дистанции.

На исходе 1925 года Леонов напишет-таки Волошину письмо: тот, страстно влюбленный в русскую литературу, спрашивал у московских знакомых, как там Булгаков и Леонов, – и последний, прознав о волошинском интересе, ненадолго застыдился, что не отблагодарил устроителя своих коктебельских каникул: «Нет, кроме шуток, – не сердитесь, что не писал. Впредь перестану жить свиньей и буду аккуратен». Хотя, собственно, так и не стал аккуратен, и Волошину писем больше не отправлял.

Зато Леонов делится-таки с ним московскими новостями в единственном своем послании и, к слову, вспоминает о Булгакове: Мишу, мол, встречаю редко, okazиями.

Оказии были связаны вот с чем.

В те годы работал в Москве литератор Петр Зайцев. Служил Зайцев в издательстве «Недра», где в числе прочих начали выходить и булгаковские книги. Зайцеву пришла идея создания двух литературных кружков: поэтического и прозаического. Прозаический кружок окрестили «писателями-фантазерами» и вписали туда как раз Булгакова, Леонова и несколько персон рангом поменьше. Так что, на небезосновательный взгляд ценителей, у прозы обоих были в те годы общие признаки. Это, додумаем мы, склонность к фантазмагориям, это – едкий иронизм и еще, пожалуй, скептическое отношение к произошедшему в стране социальному перелому.

По замыслу Зайцева, группа должна была в чем-то наследовать «Серапионовым братьям», уже распавшимся к тому времени. И стоит заметить, и Леонова, и Булгакова «фантазийная» идеология нового объединения поначалу вполне устраивала.

Был у Леонова с Булгаковым, в связи с организацией кружка, еще один шанс сойтись – они периодически встречались на чтениях, – но опять не сложилось.

Кружок распался: в Советской России вообще все литературные внесударственные объединения начали сходиться на нет.

Вскоре и у Леонова, и у Булгакова начнется работа со МХАТом, что станет великой радостью для обоих. Ведь избрав совсем еще молодых людей своими авторами, легендарный театр фактически признавал их наследниками Чехова и Горького. Это было немыслимой честью в те времена. И предметом огромной зависти коллег.

Два года спустя, в 1927-м, пути Леонова и Булгакова даже пересекутся: МХАТ тогда соберет замечательно сильную команду для создания юбилейного – к 10-летию революции – спектакля: Бабель, Замятин, Пильняк, Вс. Иванов – и Михаил Афанасьевич с Леонидом Максимовичем. Но из затеи ничего не выйдет, да и вряд ли могло случиться иначе: как было запрячь этих шестерых разом?..

«Он часто в таинственности пребывает», – добавляет в 1925 году в упомянутом письме Волошину Леонов о Булгакове, видимо, имея в виду осмысленную отстраненность последнего.

Зато у Леонова в 1925 году сложились с виду дружеские, но внутренне не всегда понятные взаимоотношения с Сергеем Есениным.

Леонов и Есенин

Когда Леонов прочитал Есенина впервые, точно неизвестно, но 20 марта 1918 года в архангельском «Северном дне» было опубликовано стихотворение Есенина «Пушистый звон, и руга...». Это была перепечатка из одного столичного издания. Скорее всего, стихотворение в печать отобрал сам Леонид.

Лично с Есениным они познакомились в начале 1924 года в Гнездиновском переулке, на квартире Анны Абрамовны Берзинь. К тому времени у Леонова вышли две книжки, и одна из них – повесть «Петушихинский пролом» – Есенину очень понравилась.

В тот момент есенинские разногласия с имажинистами уже достигли точки, близкой к критической, но неизменным оставалось желание поэта собрать вокруг себя людей близких по духу, буйных, даровитых. Леонов – подходил.

«Аннушка Берзинь была своеобразной дамой, – рассказывал Леонов литературоведу Александру Лысову о той встрече. – Крупная женщина с вызывающим характером. Одевалась пышно: немыслимая какая-то шляпка, боа из перьев. Роскошная по тем временам дама. Первый облик Есенина тоже обескураживал. Роскошная шуба, надменные бачки, шапка уж не помню какая».

Есенинскую шубу Леонов надолго запомнил – и припрятал в памяти; скоро она ему пригодится.

Они, пожалуй, не сдружились накрепко. Есенин, при всей его в метафизическом смысле человеческой, поэтической чистоте, не очень любил общаться с равносильными себе литераторами и зачастую тянулся к людям отчасти с подпольным, отчасти с сектантским мышлением. Леонов, безусловно, не относился ни к первому, ни ко второму типу, и вообще с молодых лет шумными и пьяными компаниями тяготился, предпочитая общество вдумчивых и неспешных стариков.

Однако близкий Есенину человек – поэт Василий Наседкин, муж родной сестры Сергея Александровича, все-таки позже называл Леонова в числе близких его приятелей той поры, 1924–1925 годов. Внешне так оно и было, хотя заметим, что на свадьбу свою с Софьей Толстой Есенин Леонова не позвал, а, например, Всеволода Иванова и Пильняка пригласил.

Но это всё детали.

Года с 1919-го Есениным владела идея создать журнал «Вольнодумец», после возвращения из заграничной поездки в августе 1923 года он всерьез вернулся к этой затее.

Поэт присматривался и к поэтам, и к прозаикам, мысленно отбирая лучших.

Леонов был одним из немногих, кто глянулся сразу.

Когда в очередной раз зашла речь о «Вольнодумце», Есенин рассказал имажинисту Матвею Ройзману, что печатать в журнале он будет прозу и поэзию «самого высокого мастерства, чтобы журнал поднялся на три головы выше “Красной нови” и стал образцом для толстых журналов».

«По его планам, – писал Ройзман о Есенине, – в “Вольнодумце” будут участвовать не связанные ни с какими группами литераторы. Они должны свободно мыслить! <...> Сергей сказал, что для прозы у него есть три кита: Иванов, Пильняк, Леонов».

Леонов, в свою очередь, цену себе быстро понял; и ощущения, что смотрел он на Есенина в годы их знакомства снизу вверх, – его нет вовсе.

Сохранились две фотографии, где Есенин и Леонов вместе, вдвоем.

Первый снимок сделан в том же 1924 году, в редакции журнала «Прожектор», по просьбе Александра Воронского.

Критик и сам понимал, кого он ставит рядом, к тому же Воронский как раз тогда писал статью о Есенине и Леонове.

Кажется, что ни с кем у Есенина из современных ему писателей и не могло быть большего сближения, чем с Леоновым.

Оба, по крови, черноземные простолюдины, лишенные наследственного аристократизма.

Корни у обоих деревенские, и, в конечном счете, Есенин жил в сельской местности времени немногим больше, чем Леонов. Детство оба провели в домах своих дедов по материнской линии.

Оба наделены были даром удивительным, прирожденным, глубоко русским. При этом очень важная деталь – Есенин, конечно же, никакой не «крестьянский сын», как сам любил говорить, а почти подобно Леонову – сын плохо закрепившегося в Москве приказчика, работавшего в купеческой лавке. И отношения с отцами у обоих были не самые внятные. Зато с дедами, напротив, куда более крепкие и терпкие. Немаловажная деталь: и дед Леон Леонович Леонов, и дед Есенина по материнской линии Федор Титов любили церковную литературу.

Наследство они впитали из окружавшей их среды очень схожее – очевидное русофильство, в чем-то языческий взгляд на мир... «Язычество – это как молодость матери», – замечательно точно сказал как-то Леонов. Ранний Есенин это очень остро чувствовал и понимал. Созвучны приступы богоборчества, одолевавшие то первого, то второго, при том, что у обоих присутствовало неистребимое, кровное и костное ощущение, что Бог – есть.

Они и вели себя поначалу отчасти схоже: играли в прозрачных нестеровских мальчиков, то тишайших и нежнейших, то способных спеть зазорную частушку. Только Леонов этот путь прошел быстрее, в два года: времена уже были другие, и качества ценились не те.

Наконец, и революцию два эти «попутчика» восприняли вполне себе схожим образом: «с большим крестьянским уклоном», по Есенину (интерес к «барсукам» у них был в то время обоюдный и острый), или, если угодно, по национал-большевистски, в терминологии Николая Устрялова, первого русского идеолога этого течения. Только Есенин, пожалуй, в революцию даже был поначалу влюблен, чего о Леонове сказать нельзя никак.

На той, первой фотографии писателя и поэта они замечательно похожи: смотрят как два брата, один – золотой, второй – черный, и даже не очень заметно, что Леонов моложе. Есенин присел на край стола, галстук поверх пиджака случайно выпростался, в руке папироска. Леонов рядом стоит, в блузе и тоже в галстучке. Оба – чубатые, красивые, лица по-хорошему круглые, никаких декадентских впалых щек, «деревенские ребята», на сметане вскормленные. И Есенин смотрит на Леонова внимательно. А Леонов – прямо, мимо Есенина.

Очень правильная фотография, повторимся. Не смотрел он на Есенина подобострастно.

Фотографию ту проявили сразу же, пока Есенин и Леонов сидели в «Прожекторе» и общались с коллективом. Обоим снимок понравился, и никто не захотел с ним расставаться. Спорили-спорили, в итоге фотографию разрезали: Есенин забрал свое изображение, а Леонов – свое.

И еще один снимок есть, судя по всему, он сделан тогда же, хотя его часто датируют мартом 1925 года. Они на диване сидят, но лица уже другие: Есенин вроде как даже поддатый чуть-чуть, а Леонов – трезвый, хотя в те годы еще выпивал порою, позволял себе. У Есенина выражение лица такое, словно он Леонову что-то говорит, а тот слушает, но отвечать не торопится.

Существует свидетельство об одной из встреч поэта и писателя. Рассказывал эту историю уже упоминавшийся нами поэт и художник Павел Радимов. Встреча случилась в квартире давней и преданной есенинской знакомой Галины Бениславской: на улице Станкевича, за Моссоветом. Время действия – начало 1925 года, зима.

В квартире собралось множество народу: Всеволод Иванов, критик Зелинский, поэты Кириллов, Орешин, Казин, сам Радимов – и Леонов пришел.

Все выпивают, хлеба на столе нет, но нажарена сковородка картошки с печенкой. Настроение у собравшихся, видимо, не самое лучшее: Есенин все время на взводе, ежесекундно ожидается скандал. Леонов решает разрядить обстановку: берет гитару в руки и поет. Поет красиво, играет замечательно, все довольны. Даже Есенин подходит к Леонову, вроде как расстроженный, и хочет обнять – Леонов кладет гитару на диван, Есенин легко подхватывает его, прижимает к себе и вдруг неожиданно отталкивает. Леонов не удерживается на ногах, садится на диван и гитару ломает.

Дурацкую ситуацию свели к шутке: возможно, Есенин и не собирался обижать недавнего своего знакомого. В любом случае, они не поругались.

Тем более к 1925 году у Леонова возник свой интерес к Есенину: ему нужна была живая плоть и кровь для «Вора», который он замыслил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.